

Оскар Уайльд Портрет Дориана Грея

Предисловие

Художник — тот, кто создает прекрасное.

Раскрыть людям себя и скрыть художника — вот к чему стремится искусство.

Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.

Высшая, как и низшая, форма критики — один из видов автобиографии.

Те, кто в прекрасном находят дурное, — люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.

Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, — люди культурные. Они не безнадежны.

Но избранник — тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.

Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.

Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана,¹ увидевшего себя в зеркале.

Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения.

Для художника нравственная жизнь человека — лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства в совершенном применении несовершенных средств.

Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.

Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.

Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать все.

Мысль и Слово для художника — средства Искусства.

Порок и Добродетель — материал для его творчества.

Если говорить о форме, — прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве — искусство актера.

Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.

Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск.

И кто раскрывает символ, идет на риск.

В сущности, Искусство — зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.

Если произведение искусства вызывает споры, — значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.

Пусть критики расходятся во мнениях, — художник остается верен себе.

Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд

¹ Ярость Калибана. — Калибан — персонаж драмы Шекспира «Буря», символ дикости, невежества, темных сил.

Глава I

Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.

С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст раkitника — его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия; по временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков, — и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд,² чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.

Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

— Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано, — лениво промолвил лорд Генри. Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор.³ В Академию не стоит: Академия слишком обширна и общедоступна. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удастся людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор.

— А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, — отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. — Нет, никуда я его не пошлю.

Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.

— Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготеют к ней. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.

— Знаю, ты будешь надо мною смеяться, — возразил художник, — но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет... Я вложил в него слишком много самого себя.

Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.

— Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.

² Бэзил Холлуорд. — Уайльд сохранил имя своего друга-художника Бэзила Уорда.

³ Гровенор — частная галерея в Лондоне, открытая в конце 70-х гг. XIX в.

— Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он — Нарцисс, а ты... Ну конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высоко развитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии — как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, — но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом, — естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, — значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он — безмозглое и прелестное божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов, — чтобы радовать глаза, а летом — чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не льсти себе: ты ничуть на него не похож.

— Ты меня не понял, Гарри, — сказал художник. — Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое — точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, — без всяких тревожений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки... Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал, у Дориана Грея — его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.

— Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? — спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.

— Да. Я не хотел называть его имя...

— Но почему же?

— Как тебе объяснить... Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь — я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им — и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?

— Нисколько, — возразил лорд Генри, — Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, — а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, — мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.

— Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. — Я уверен, что на самом деле ты

прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного — и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза.

— Знаю, что быть естественным — это поза, и самая ненавистная людям поза! — воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.

— Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил, — сказал он. — Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.

— Какой вопрос? — спросил художник, не поднимая глаз.

— Ты отлично знаешь какой.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.

— Я и сказал тебе правду.

— Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!

— Пойми, Гарри. — Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри. — Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставить.

Лорд Генри расхохотался.

— И что же это за тайна? — спросил он.

— Так и быть, расскажу тебе, — начал Холлуорд как-то смущенно.

— Ну-с? Я сгораю от нетерпения, Бэзил, — настаивал лорд Генри, поглядывая на него.

— Да говорить-то тут почти нечего, Гарри... И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.

Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.

— Я совершенно уверен, что пойму, — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. — А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.

Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев; тяжелые кисти сирени, словно сотканные из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.

— Ну, так вот... — заговорил художник, немного помолчав. — Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.

В гостиной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин... во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут... не знаю, как и

объяснить тебе... Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря...

— Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. «Совесть» — официальное название трусости, вот и все.

— Не верю я этому, Гарри, да и ты, мне думается, не веришь... Словом, не знаю, из каких побуждений, — быть может, из гордости, так как я очень горд, — я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлуорд?» — закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!

— Еще бы! Она — настоящий павлин, только без его красоты, — подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами.

— Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах Подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех, — во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие.

И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство: все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.

— А что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри. Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом — его, наверное, слышали все в гостиной — сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь как оценщик на аукционе продающиеся с молотка вещи: она — либо рассказывает о них самое сокровенное, — либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.

— Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж строг к ней, Гарри, — рассеянно заметил Холлуорд.

— Дорогой мой, она стремилась создать у себя «салон», но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней, скажи-ка мне лучше, как она отозвалась о Дориане Грее?

— Пробормотала что-то такое вроде: «Прелестный мальчик... мы с его бедной матерью были неразлучны... Забыла, чем он занимается... Боюсь, что ничем... Ах да, играет на рояле... Или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.

— Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — сказал он тихо. — Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.

— Как ты несправедлив ко мне! — воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего шелка. — Да, да, возмутительно несправедлив! Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они — люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.

— И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель?

— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто приятель».

— И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?

— Ну, нет! К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают.

— Гарри! — остановил его Холлуорд, нахмутив брови.

— Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми «пороками высших классов». Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть *их* привилегиями, и если кто-либо из *нас* страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саусуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

— Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри! И ты, конечно, сам в это не веришь.

Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.

— Какой ты истый англичанин, Бэзил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину, — а это большая неосторожность! — так он и не подумает разобраться, верная это мысль или неверная. Его интересует только одно: убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков... Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего — люди без принципов. Поговорим о Дориане Грее. Часто вы встречаетесь?

— Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.

— Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

— Дориан для меня теперь — все мое искусство, — сказал художник серьезно. — Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения, второй — появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры — лик Антиноя. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы... Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой, я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу — то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня... Встреча с Дорианом

словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. «Мечта о форме в дни, когда царствует мысль», — кто это сказал? Не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика — в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать лет... ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, что значит для меня его присутствие! Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония духа и тела — как это прекрасно! В безумии своем мы разлучили их, мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня Дориан Грей! Помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Какое-то его неуловимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть в обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти.

— Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея! Холлуорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье.

— Пойми, Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, быть может, ничего не увидишь в нем, а я вижу все. И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и все.

— Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает. И никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри? В это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя.

— А вот поэты — те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

— Я презираю таких поэтов! — воскликнул Холлуорд. — Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного, — и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.

— По-моему, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобой спорить. Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит?

Художник задумался.

— Дориан ко мне привязан, — ответил он после недолгого молчания. — Знаю, что привязан. Оно и понятно: я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, — хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает ужасно нечуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она — то же, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день.

— Летние дни долги, Бэзил, — сказал вполголоса лорд Генри. — И, быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально, Гений, несомненно, долговечнее Красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой

борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное, и начинаем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведущий человек — вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека — это нечто страшное! Он подобен лавке антиквария, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости... Да, Бэзил, я все-таки думаю, что ты пресытишься первый. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга — и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной, тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом *его* и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен. И можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, — настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей прежней жизни, человек — увы! — становится так прозаичен!

— Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять: ты такой непостоянный.

— Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.

Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость.

В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи, голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! «И как увлекательно интересны чувства людей, гораздо интереснее их мыслей! — говорил себе лорд Генри. — Собственная душа и страсти друзей — вот что самое занятное в жизни».

Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться: богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого!

Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлуорду.

— Знаешь, я сейчас вспомнил...

— Что вспомнил, Гарри?

— Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея.

— Где же? — спросил Холлуорд, сдвинув брови.

— Не смотри на меня так сердито, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде,⁴ и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины, — во всяком случае, добродетельные женщины, — не ценят красоту. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, — и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан — твой друг.

— А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы вы познакомились.

⁴ ...помогать в Ист-Энде... — Топография романа социально-контрастна: дворцы, особняки, привилегированные районы, богатейшие рестораны, салоны, закрытые колледжи (Олбени, Итон, Орлеанский клуб, Пиккадилли, Керзон-стрит) или уж трущобы Ист-Энда (Уайтчепел и др.)

— Не хочешь, чтобы мы познакомились?
— Нет.
— Мистер Дориан Грей в студии, сэр, — доложил лакей, появляясь в саду.
— Ага, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить! — со смехом воскликнул лорд Генри.
Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца.
— Попросите мистера Грея подождать, Паркер: я сию минуту приду.
Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлуорд посмотрел на лорда Генри.
— Дориан Грей — мой лучший друг, — сказал он. — У него открытая и светлая душа — твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его! Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы губительно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть!
Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.
— Что за глупости! — с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлуорда под руку, почти насильно повел его в дом.

Глава II

В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним, и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки».
— Что за прелесть! Я хочу их разучить, — сказал он, не оборачиваясь. — Дайте их мне на время, Бэзил.
— Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан. — Ох, надоело мне это! И я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину, — возразил юноша капризно. Повернувшись на табурете, он увидел лорда Генри и поспешно встал, порозовев от смущения, — Извините, Бэзил, я не знал, что у вас гость.
— Знакомьтесь, Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый товарищ по университету. Я только что говорил ему, что вы превосходно позируете, а вы своим брюзжанием все испортили!
— Но ничуть не испортили мне удовольствия познакомиться с вами, мистер Грей, — сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. — Я много наслышался о вас от моей тетушки. Вы — ее любимец и, боюсь, одна из ее жертв.
— Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету, — отозвался Дориан с забавно-покаянным видом. — Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один уайтчепельский клуб — и совершенно забыл об этом. Мы должны были там играть с ней в четыре руки, — кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит. Боюсь показаться ей на глаза.
— Ничего, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вы не выступили вместе с нею на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт, — ведь за роялем тетя Агата вполне может нашуметь за двоих.
— Такое мнение крайне обидно для нее и не очень-то лестно для меня, — сказал Дориан, смеясь. Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души. Недаром Бэзил Холлуорд боготворил Дориана!
— Ну, можно ли такому очаровательному молодому человеку заниматься благотворительностью! Нет, вы для этого слишком красивы, мистер Грей, — сказал лорд Генри и, развалясь на диване, достал свой портсигар.

Художник тем временем приготовил кисти и смешивал краски на палитре. На хмуром его лице было заметно сильное беспокойство. Услышав последнее замечание лорда Генри, он быстро оглянулся на него и после минутного колебания сказал:

— Гарри, мне хотелось бы закончить сегодня портрет. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри с улыбкой посмотрел на Дориана.

— Уйти мне, мистер Грей?

— Ах нет, лорд Генри, пожалуйста, не уходите! Бэзил, я вижу, сегодня опять в дурном настроении, а я терпеть не могу, когда он сердится. Притом вы еще не объяснили, почему мне не следует заниматься благотворительностью?

— Стоит ли объяснять это, мистер Грей? На такую скучную тему говорить пришлось бы серьезно. Но я, конечно, не уйду, раз вы меня просите остаться. Ты ведь не будешь возражать, Бэзил? Ты сам не раз говорил мне, что любишь, когда кто-нибудь занимает тех, кто тебе позирует.

Холлуорд закусил губу.

— Конечно, оставайся, раз Дориан этого хочет. Его прихоти — закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки.

— Несмотря на твои настояния, Бэзил, я, к сожалению, должен вас покинуть. Я обещал встретиться кое с кем в Орлеанском клубе. До свиданья, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. В пять я почти всегда дома. Но лучше вы сообщите заранее, когда захотите прийти: было бы обидно, если бы вы меня не застали.

— Бэзил, — воскликнул Дориан Грей, — если лорд Генри уйдет, я тоже уйду! Вы никогда рта не раскрываете во время работы, и мне ужасно надоедает стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить!

— Оставайся, Гарри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь, — сказал Холлуорд, не отводя глаз от картины. — Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят, так что моим бедным натурщикам, должно быть, нестерпимо скучно. Пожалуйста, посиди с нами.

— А как же мое свидание в клубе?

Художник усмехнулся.

— Не думаю, чтобы это было так уж важно. Садись, Гарри. Ну а вы, Дориан, станьте на подмостки и поменьше вертитесь. Да не очень-то слушайте лорда Генри — он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние.

Дориан Грей с видом юного мученика взошел на помост и, сделав недовольную гримасу, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Бэзила ему очень нравился. Он и Бэзил были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст. И голос у лорда Генри был такой приятный! Выждав минуту, Дориан спросил:

— Лорд Генри, вы в самом деле так вредно влияете на других?

— Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно, — безнравственно с научной точки зрения.

— Почему же?

— Потому что влиять на другого человека — это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи, — если предположить, что таковые вообще существуют, — будут заимствованные. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг — это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они накормят голодного, оденут нищего. Но их собственные души наги и умирают с голоду. Мы утратили мужество. А может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения, эта основа морали, и страх перед богом, страх, на котором держится религия, — вот

что властвует над нами. Между тем...

— Будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного вправо, — попросил художник.

Поглощенный своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, какого до сих пор никогда не видел.

— А между тем, — своим низким, певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятыми всем, кто знал его еще в Итоне, — мне думается, что, если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, — мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя. Самоотречение, этот трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь. И мы расплачиваемся за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению. После этого остаются лишь воспоминания о наслаждении или сладострастие раскаяния. Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему. А если вздумашь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Кто-то сказал, что величайшие события в мире — это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда...

— Пойдите, пойдите! — пробормотал, запинаясь, Дориан Грей. — Вы смутили меня, я не знаю, что сказать... С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов... Не говорите больше ничего! Дайте мне подумать... Впрочем, лучше не думать об этом!

Минут десять Дориан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа.

Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Бэзила, сказанных, вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в нем какую-то тайную струну, которой до сих пор не касался никто, и сейчас она трепетала, вибрировала порывистыми толчками.

До сих пор так волновала его только музыка. Да, музыка не раз будила в его душе волнение, но волнение смутное, бездумное. Она ведь творит в душе не новый мир, а скорее — новый хаос. А тут прозвучали *слова*! Простые слова — но как они страшны! От них никуда не уйдешь. Как они ясны, неотразимо сильны и жестоки! И вместе с тем — какое в них таится коварное очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, сладостнее звуков лютни и виолы. Только слова! Но есть ли что-либо весомее слов?

Да, в ранней юности он, Дориан, не понимал некоторых вещей. Сейчас он понял все. Жизнь вдруг засверкала перед ним яркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого?

Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какое произвели на юношу его слова. Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в шестнадцать лет; она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое? Неужели стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил!..

Холлуорд писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые — в искусстве по крайней мере — всегда

являются признаком мощного таланта. Он не замечал наступившего молчания.

— Бэзил, я устал стоять, — воскликнул вдруг Дориан, — Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь очень душно!

— Ах, простите, мой друг! Когда я пишу, я забываю обо всем. А вы сегодня стояли, не шелохнувшись. Никогда еще вы так хорошо не позировали. И я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах... Не знаю, о чем тут разглагольствовал Гарри, но, конечно, это он вызвал на вашем лице такое удивительное выражение. Должно быть, наговорил вам кучу комплиментов? А вы не верьте ни единому его слову.

— Нет, он говорил мне вещи совсем не лестные. Поэтому я и не склонен ему верить.

— Ну, ну, в душе вы отлично знаете, что поверили всему, — сказал лорд Генри, задумчиво глядя на него своими томными глазами. Я, пожалуй, тоже выйду с вами в сад, здесь невыносимо жарко. Бэзил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом... и хорошо бы с земляничным соком.

— С удовольствием, Гарри. Позвони Паркеру, и я скажу ему, что принести. Я приду к вам в сад немного погодя, надо еще подработать фон. Но не задерживай Дориана надолго. Мне сегодня, как никогда, хочется писать. Этот портрет будет моим шедевром. Даже в таком виде, как сейчас, он уже чудо как хорош.

Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана у куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, он упивался их ароматом, как жаждущий — вином. Лорд Генри подошел к нему вплотную и дотронулся до его плеча.

— Вот это правильно, — сказал он тихо. — Душу лучше всего лечить ощущениями, а от ощущений лечит только душа.

Юноша вздрогнул и отступил. Он был без шляпы, и ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. Глаза у него были испуганные, как у внезапно разбуженного человека. Тонко очерченные ноздри нервно вздрагивали, алые губы трепетали от какого-то тайного волнения.

— Да, — продолжал лорд Генри, — надо знать этот великий секрет жизни: лечите душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Вы — удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать.

Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему безотчетно нравился высокий и красивый человек, стоявший рядом с ним. Смуглое романтическое лицо лорда Генри, его усталое выражение вызывало интерес, и что-то завораживающее было в низком и протяжном голосе. Даже руки его, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. В движениях этих рук, как и в голосе, была музыка, и казалось, что они говорят своим собственным языком.

Дориан чувствовал, что боится этого человека, — и стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы кто-то чужой научил его понимать собственную душу? Ведь вот с Бэзиллом Холлуордом он давно знаком, но дружба их ничего не изменила в нем. И вдруг приходит этот незнакомец — и словно открывает перед ним тайны жизни. Но все-таки чего же ему бояться? Он не школьник и не девушка. Ему бояться лорда Генри просто глупо.

— Давайте сядем где-нибудь в тени, — сказал лорд Генри, — Вот Паркер уже несет нам питье. А если вы будете стоять на солнцепеке, вы подурнеете, и Бэзил больше не захочет вас писать. Загар будет вам не к лицу.

— Эка важность, подумаешь! — засмеялся Дориан Грей, садясь на скамью в углу сада.

— Для вас это очень важно, мистер Грей.

— Почему же?

— Да потому, что вам дана чудесная красота молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь.

— Я этого не думаю, лорд Генри.

— Теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда вы станете безобразным стариком, когда думы избородят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы, — вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы

всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А Красота — один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она — одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться... Иные говорят, что Красота — это тщета земная. Быть может. Но, во всяком случае, она не так тщетна, как Мысль. Для меня Красота — чудо из чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная тайна жизни заключена в зримом, а не в сокровенном... Да, мистер Грей, боги к вам милостивы. Но боги скоро отнимают то, что дают. У вас впереди не много лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею красота — и вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло, или придется довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлым они вам будут казаться горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому тяжкому будущему. Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили вас боги. Щеки ваши пожелтеют и ввялятся, глаза потускнеют. Вы будете страдать ужасно... Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош, не пытайтесь исправлять то, что неисправимо, не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все новых ощущений! Ничего не бойтесь! Новый гедонизм — вот что нужно нашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит вам... Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете, не знаете, чем вы могли бы быть. Многое в вас меня пленило, и я почувствовал, что должен помочь вам познать самого себя. Я думал: «Как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром!» Ведь молодость ваша пройдет так быстро! Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом раkitник в июне будет так же сверкать золотом, как сейчас. Через месяц зацветет пурпурными звездами ломонос, и каждый год в зеленой ночи его листьев будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что бьется так сильно в двадцать лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость! Молодость! В мире нет ничего ей равного!

Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза. Веточка сирени выскользнула из его пальцев и упала на гравий. Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею, жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую. Дориан наблюдал за ней с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредоточиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнует новое чувство, еще неясное нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дориан видел, как она забралась в трубчатую чашечку выюнка. Цветок, казалось, вздрогнул и тихонько закачался на стебельке.

Неожиданно в дверях мастерской появился Холлуорд и энергичными жестами стал звать своих гостей в дом. Лорд Генри и Дориан переглянулись.

— Я жду, — крикнул художник. — Идите же! Освещение сейчас для работы самое подходящее... А пить вы можете и здесь.

Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо пролетели две бледнозеленые бабочки, в дальнем углу сада на груше запел дрозд.

— Ведь вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей? — сказал лорд Генри, глядя на Дориана.

— Да, сейчас я этому рад. Не знаю только, всегда ли так будет.

— Всегда!.. Какое ужасное слово! Я содрогаюсь, когда слышу его. Его особенно любят

женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Притом «всегда» — это пустое слово. Между капризом и «вечной любовью» разница только та, что каприз длится несколько дольше.

Они уже входили в мастерскую. Дориан Грей положил руку на плечо лорда Генри.

— Если так, пусть наша дружба будет капризом, — шепнул он, краснея, смущенный собственной смелостью. Затем взошел на подмости и стал в позу.

Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, наблюдал за ним. Тишину в комнате нарушали только легкий стук и шуршанье кисти по полотну, затихавшее, когда Холлуорд отходил от мольберта, чтобы издали взглянуть на свою работу. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в них плясали золотые пылинки. Приятный аромат роз словно плавал в воздухе.

Прошло с четверть часа. Художник перестал работать. Он долго смотрел на Дориана Грея, потом, так же долго, на портрет, хмурясь и покусывая кончик длинной кисти.

— Готово! — воскликнул он наконец и, нагнувшись, подписал свое имя длинными красными буквами в левом углу картины.

Лорд Генри подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть ее. Несомненно, это было дивное произведение искусства, да и сходство было поразительное.

— Дорогой мой Бэзил, поздравляю тебя от всей души, — сказал он. — Я не знаю лучшего портрета во всей современной живописи. Подойдите же сюда, мистер Грей, и судите сами.

Юноша вздрогнул, как человек, внезапно очнувшийся от сна.

— В самом деле кончено? — спросил он, сходя с подмостков.

— Да, да. И вы сегодня прекрасно позировали. Я вам за это бесконечно благодарен.

— За это надо благодарить меня, — вмешался лорд Генри. — Правда, мистер Грей?

Дориан, не отвечая, с рассеянным видом, прошел мимо мольберта, затем повернулся к нему лицом. При первом взгляде на портрет он невольно сделал шаг назад и вспыхнул от удовольствия. Глаза его блеснули так радостно, словно он в первый раз увидел себя. Он стоял неподвижно, погруженный в созерцание, смутно сознавая, что Холлуорд что-то говорит ему, но не вникая в смысл его слов. Как откровение пришло к нему сознание своей красоты. До сих пор он как-то ее не замечал, и восхищение Бэзила Холлуорда казалось ему трогательным ослеплением дружбы. Он выслушивал его комплименты, подсмеивался над ними и забывал их. Они не производили на него никакого впечатления. Но вот появился лорд Генри, прозвучал его восторженный гимн молодости, грозное предостережение о том, что она быстротечна. Это взволновало Дориана, и сейчас, когда он смотрел на отражение своей красоты, перед ним вдруг с поразительной ясностью встало то будущее, о котором говорил лорд Генри. Да, наступит день, когда его лицо поблекнет и сморщится, глаза потускнеют, выцветут, стройный стан согнется, станет безобразным. Годы унесут с собой алость губ и золото волос. Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело. Он станет отталкивающе некрасив, жалок и страшен.

При этой мысли острая боль, как ножом, пронзила Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала. Глаза потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами. Словно ледяная рука легла ему на сердце.

— Разве портрет вам не нравится? — воскликнул наконец Холлуорд, немного задетый непонятым молчанием Дориана.

— Ну конечно, нравится, — ответил за него лорд Генри. — Кому он мог бы не понравиться? Это один из шедевров современной живописи. Я готов отдать за него столько, сколько ты потребуешь. Этот портрет должен принадлежать мне.

— Я не могу его продать, Гарри. Он не мой.

— А чей же?

— Дориана, разумеется, — ответил художник.

— Вот счастливец!

— Как это печально! — пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не отводя глаз от

своего портрета. — Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день... Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За это... за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу бы отдал за это!

— Тебе, Бэзил, такой порядок вещей вряд ли понравился бы! — воскликнул лорд Генри со смехом. — Тяжела тогда была бы участь художника!

— Да, я горячо протестовал бы против этого, — отозвался Холлуорд.

Дориан Грей обернулся и в упор посмотрел на него.

— О Бэзил, в этом я не сомневаюсь! Свое искусство вы любите больше, чем друзей. Я вам не дороже какой-нибудь позеленевшей бронзовой статуэтки. Нет, пожалуй, ею вы дорожите больше.

Удивленный художник смотрел на него во все глаза. Очень странно было слышать такие речи от Дориана. Что это с ним? Он, видимо, был очень раздражен, лицо его пылало.

— Да, да, — продолжал Дориан. — Я вам не так дорог, как ваш серебряный фавн или Гермес из слоновой кости. Их вы будете любить всегда. А долго ли будете любить меня? Вероятно, до первой морщинки на моем лице. Я теперь знаю — когда человек теряет красоту, он теряет все. Ваша картина мне это подсказала. Лорд Генри совершенно прав: молодость — единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой.

Холлуорд побледнел и схватил его за руку.

— Дориан, Дориан, что вы такое говорите! У меня не было и не будет друга ближе вас. Что это вы вздумали завидовать каким-то неодушевленным предметам? Да вы прекраснее их всех!

— Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему он сохранит то, что мне суждено утратить? Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас! Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мной!

Горячие слезы подступили к глазам Дориана, он вырвал свою руку из руки Холлуорда и, упав на диван, спрятал лицо в подушки.

— Это ты наделал, Гарри! — сказал художник с горечью. Лорд Генри пожал плечами.

— Это заговорил настоящий Дориан Грей, вот и все.

— Неправда.

— А если нет, при чем же тут я?

— Тебе следовало уйти, когда я просил тебя об этом.

— Я остался по твоей же просьбе, — возразил лорд Генри.

— Гарри, я не хочу поссориться разом с двумя моими близкими друзьями... Но вы оба сделали мне ненавистой мою лучшую картину. Я ее уничтожу. Что ж, ведь это только холст и краски. И я не допущу, чтобы она омрачила жизнь всем нам.

Дориан Грей поднял голову с подушки и, бледнея, заплаканными глазами следил за художником, который подошел к своему рабочему столу у высокого, занавешенного окна. Что он там делает? Шарит среди беспорядочно нагроможденных на столе тюбиков с красками и сухих кистей, — видимо, разыскивает что-то. Ага, это он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. И нашел его наконец. Он хочет изрезать портрет!

Всхлипнув, юноша вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду и, вырвав у него из рук шпатель, швырнул его в дальний угол.

— Не смейте, Бэзил! Не смейте! — крикнул он. — Это все равно что убийство!

— Вы, оказывается, все-таки цените мою работу? Очень рад, — сказал художник сухо, когда опомнился от удивления, — А я на это уже не надеялся.

— Ценю ее? Да я в нее влюблен, Бэзил. У меня такое чувство, словно этот портрет — часть меня самого.

— Ну и отлично. Как только вы высохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и

отправят домой. Тогда можете делать с собой, что хотите.

Пройдя через комнату, Холлуорд позвонил.

— Вы, конечно, не откажетесь выпить чаю, Дориан? И ты тоже, Гарри? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?

— Я обожаю простые удовольствия, — сказал лорд Генри. — Они — последнее прибежище для сложных натур. Но драматические сцены я терплю только на театральных подмостках. Какие вы оба нелепые люди! Интересно, кто это выдумал, что человек — разумное животное? Что за скороспелое суждение! У человека есть что угодно, только не разум. И, в сущности, это очень хорошо!.. Однако мне неприятно, что вы ссоритесь из-за портрета. Вы бы лучше отдали его мне, Бэзил! Этому глупому мальчику вовсе не так уж хочется его иметь, а мне *очень* хочется.

— Бэзил, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите не мне! — воскликнул Дориан Грей. — И я никому не позволю обзывать меня «глупым мальчиком».

— Я уже сказал, что дарю портрет вам, Дориан. Я так решил еще прежде, чем начал его писать.

— А на меня не обижайтесь, мистер Грей, — сказал лорд Генри. — Вы сами знаете, что вели себя довольно глупо. И не так уж вам неприятно, когда вам напоминают, что вы еще мальчик.

— Еще сегодня утром мне было бы это очень неприятно, лорд Генри.

— Ах, утром! Но с тех пор вы многое успели пережить. В дверь постучали, вошел лакей с чайным подносом и поставил его на японский столик. Звякали чашки и блюда, пыхтел большой старинный чайник. За лакеем мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда.

Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Бэзил и лорд Генри не спеша подошли тоже и, приподняв крышки, посмотрели, что лежит на блюдах.

— А не пойти ли нам сегодня вечером в театр? — предложил лорд Генри. — Наверное, где-нибудь идет что-нибудь интересное. Правда, я обещал одному человеку обедать сегодня с ним у Уайта, но это мой старый приятель, ему можно телеграфировать, что я заболел или что мне помешало прийти более позднее приглашение... Пожалуй, такого рода отговорка ему даже больше понравится своей неожиданной откровенностью.

— Ох, надевать фрак! Как это скучно! — буркнул Холлуорд. — Терпеть не могу фраки!

— Да, — лениво согласился лорд Генри. — Современные костюмы безобразны, они угнетают своей мрачностью. В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока.

— Право, Гарри, тебе не следует говорить таких вещей при Дориане!

— При котором из них? При том, кто наливает нам чай, или том, что на портрете?

— И при том, и при другом.

— Я с удовольствием пошел бы с вами в театр, лорд Генри, — промолвил Дориан.

— Прекрасно. Значит, едем. И вы с нами, Бэзил?

— Нет, право, не могу. У меня уйма дел.

— Ну, так мы пойдем вдвоем — вы и я, мистер Грей.

— Как я рад!

Художник, закусив губу, с чашкой в руке подошел к портрету.

— А я останусь с подлинным Дорианом, — сказал он грустно.

— Так, по-вашему, это — подлинный Дориан? — спросил Дориан Грей, подходя к нему. — Неужели я в самом деле такой?

— Да, именно такой.

— Как это чудесно, Бэзил!

— По крайней мере, внешне вы такой. И на портрете всегда таким останетесь, — со вздохом сказал Холлуорд. — А это чего-нибудь да стоит.

— Как люди гонятся за постоянством! — воскликнул лорд Генри. — Господи, да ведь и в любви верность — это всецело вопрос физиологии, она ничуть не зависит от нашей воли. Люди молодые хотят быть верны — и не бывают, старики хотели бы изменять, но где уж им!

Вот и все.

— Не ходите сегодня в театр, Дориан, — сказал Холлуорд. — Оставайтесь у меня, пообедаем вместе.

— Не могу, Бэзил.

— Почему?

— Я же обещал лорду Генри пойти с ним.

— Думаете, он станет хуже относиться к вам, если вы не сдержите слова? Он сам никогда не выполняет своих обещаний. Я вас очень прошу, не уходите.

Дориан засмеялся и покачал головой.

— Умоляю вас!

Юноша в нерешимости посмотрел на лорда Генри, который, сидя за чайным столом, с улыбкой слушал их разговор.

— Нет, я должен идти, Бэзил.

— Как знаете. — Холлуорд отошел к столу и поставил свою чашку на поднос. — В таком случае не теряйте времени. Уже поздно, а вам еще надо переодеться. До свиданья, Гарри. До свиданья, Дориан. Приходите поскорее — ну, хотя бы завтра. Придете?

— Непременно.

— Не забудете?

— Нет, конечно, нет! — заверил его Дориан.

— И вот еще что... Гарри!

— Что, Бэзил?

— Помни то, о чем я просил тебя утром в саду!

— А я уже забыл, о чем именно.

— Смотри! Я тебе доверяю.

— Хотел бы я сам себе доверять! — сказал лорд Генри со смехом. — Идемте, мистер Грей, мой кабриолет у ворот, и я могу довести вас до дому. До свиданья, Бэзил. Мы сегодня очень интересно провели время.

Когда дверь закрылась за гостями, художник тяжело опустился на диван. По лицу его видно было, как ему больно.

Глава III

На другой день в половине первого лорд Генри Уоттон вышел из своего дома на Керзон-стрит и направился к Олбени. Он хотел навестить своего дядю, лорда Фермера, добродушного, хотя и резковатого старого холостяка, которого за пределами светского круга считали эгоистом, ибо он ничем особенно не был людям полезен, а в светском кругу — щедрым и добрым, ибо лорд Фермер охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда Фермера состоял английским послом в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла была молода, а Прима еще и в помине не было.⁵ Под влиянием минутного каприза он ушел с дипломатической службы, рассерженный тем, что его не назначили послом в Париж, хотя на этот пост ему давали полное право его происхождение, праздность, прекрасный слог дипломатических депеш и неумеренная страсть к наслаждениям. Сын, состоявший при отце секретарем, ушел вместе с ним — что тогда все считали безрассудством — и, несколько месяцев спустя унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничегонеделания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на холостую ногу в наемной меблированной квартире, находя это менее хлопотливым, а обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд Фермер уделял некоторое внимание своим

⁵ ...те времена, когда королева Изабелла была молода, а Прима еще и в помине не было... — Лорд Фермор-старший находился в Испании, когда малолетняя Изабелла была под опекой; ему пришлось покинуть страну после буржуазной революции, одним из деятелей которой был генерал Прим.

угольным копиям в центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес к промышленности тем, что, владея углем, он имеет возможность, как это прилично джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим убеждениям он был консерватор, но только не тогда, когда консерваторы приходили к власти, — в такие периоды он энергично ругал их, называя шайкой радикалов. Он героически воевал со своим камердинером, который держал его в ежовых рукавицах. Сам же он, в свою очередь, терроризировал многочисленную родню. Породить его могла только Англия, а между тем он был ею недоволен и всегда твердил, что страна идет к гибели. Принципы его были старомодны, зато многое можно было сказать в защиту его предрассудков.

В комнате, куда вошел лорд Генри, дядя его сидел в толстой охотничьей куртке, с сигарой в зубах и читал «Таймс», ворчливо выражая вслух свое недовольство этой газетой.

— А, Гарри! — сказал почтенный старец. — Что это ты так рано? Я думал, что вы, денди, встаете не раньше двух часов дня и до пяти не выходите из дому.

— Поверьте, дядя Джордж, меня привели к вам в такой ранний час исключительно родственные чувства. Мне от вас кое-что нужно.

— Денег, вероятно? — сказал лорд Фермер с кислым видом. — Ладно, садись и рассказывай. Нынешние молодые люди воображают, что деньги — это все.

— Да, — согласился лорд Генри, поправляя цветок в петлице. — А с годами они в этом убеждаются. Но мне деньги не нужны, дядя Джордж, — они нужны тем, кто имеет привычку платить долги, а я своим кредиторам никогда не плачу. Кредит — это единственный капитал младшего сына в семье, и на этот капитал можно отлично прожить. Кроме того, я имею дело только с поставщиками Дартмура, — и, естественно, они меня никогда не беспокоят. К вам я пришел не за деньгами, а за сведениями. Разумеется, не за полезными: за бесполезными.

— Ну что ж, от меня ты можешь узнать все, что есть в любой Синей книге Англии, хотя нынче в них пишут много ерунды. В те времена, когда я был дипломатом, это делалось гораздо лучше. Но теперь, говорят, дипломатов зачисляют на службу только после того, как они выдержат экзамен. Так чего же от них ожидать? Экзамены, сэр, — это чистейшая чепуха, от начала до конца. Если ты джентльмен, так тебя учить нечему, тебе достаточно того, что ты знаешь. А если ты *не* джентльмен, то знания тебе только во вред.

— Мистер Дориан Грей в Синих книгах не числится, дядя Джордж, — небрежно заметил лорд Генри.

— Мистер Дориан Грей? А кто же он такой? — спросил лорд Фермор, хмуря седые косматые брови.

— Вот это-то я и пришел у вас узнать, дядя Джордж. Впрочем, кто он, мне известно: он — внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне, что вы знаете о ней. Какая она была, за кого вышла замуж? Ведь вы знали в свое время весь лондонский свет, — так, может, и ее тоже? Я только что познакомился с мистером Греем, и он меня очень интересуется.

— Внук Келсо! — повторил старый лорд. — Внук Келсо... Как же, как же, я очень хорошо знал его мать. Помнится, даже был на ее крестинах. Красавица она была необыкновенная, эта Маргарет Девере, и все мужчины бесновались, когда она убежала с каким-то молодчиком, полнейшим ничтожеством без гроша за душой, — он был офицерик пехотного полка или что-то в таком роде.

Да, да, помню все, как будто это случилось вчера. Бедняга был убит на дуэли в Спа через несколько месяцев после того, как они поженились. Насчет этого ходили тогда скверные слухи. Говорили, что Келсо подослал какого-то прохвоста, бельгийского авантюриста, чтобы тот публично оскорбил его зятя... понимаешь, подкупил его, заплатил подлецу, — и тот на дуэли насадил молодого человека на свою шпагу, как голубя на вертел. Дело замяли, но, ей-богу, после этого Келсо долгое время ел в клубе свой бифштекс в полном одиночестве. Мне рассказывали, что дочь он привез домой, но с тех пор она не говорила с ним до самой смерти. Да, скверная история! И дочь умерла очень скоро — года не прошло. Так ты говоришь, после нее остался сын? А я и забыл об этом. Что он собой

представляет? Если похож на мать, так, наверное, красивый малый.

— Да, очень красивый, — подтвердил лорд Генри.

— Надеюсь, он попадет в хорошие руки, — продолжал лорд Фермор. — Если Келсо его не обидел в завещании, у него, должно быть, куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье Селби перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел Келсо, называл его скаредом. Он и в самом деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. Ей-богу, я краснел за него! Королева несколько раз спрашивала меня, кто этот английский пэр, который постоянно торгуется с извозчиками. О нем там анекдоты ходили. Целый месяц я не решался показываться при дворе. Надеюсь, Келсо был щедрее к своему внуку, чем к мадридским извозчикам?

— Этого я не знаю, — отозвался лорд Генри. — Дориан еще несовершеннолетний. Но думаю, что он будет богат. Селби перешло к нему, это я слышал от него самого... Так вы говорите, его мать была очень красива?

— Маргарет Девере была одна из прелестнейших девушек, каких я видывал в жизни. Я никогда не мог понять, что ее толкнуло на такой странный брак. Ведь она могла выйти за кого бы ни пожелала. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были романтичны. Мужчины немногого стоили, но женщины, ей-богу, были замечательные... Карлингтон на коленях стоял перед Маргарет — он сам мне это говорил. А ведь в Лондоне в те времена все девушки были влюблены в него. Но Маргарет только смеялась над ним... Да, кстати о дурацких браках, — что это за вздор молот твой отец насчет Дартмура, — будто он хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?

— Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках теперь очень модно.

— Ну а я — за англичанок и готов спорить с целым светом! — Лорд Фермор стукнул кулаком по столу.

— Ставка нынче только на американок.

— Я слышал, что их ненадолго хватает, — буркнул дядя Джордж.

— Их утомляют долгие заезды, но в скачках с препятствиями они великолепны. На лету берут барьеры. Думаю, что Дартмуру несдобровать.

— А кто ее родители? — ворчливо осведомился лорд Фермор. — Они у нее вообще имеются? Лорд Генри покачал головой.

— Американские девицы так же ловко скрывают своих родителей, как английские дамы — свое прошлое, — сказал он, вставая.

— Должно быть, папаша ее — экспортер свинины?

— Ради Дартмура, дядя Джордж, я желал бы, чтобы это было так. Говорят, в Америке это самое прибыльное дело. Выгоднее его только политика.

— А его американка, по крайней мере, хорошенькая?

— Как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом — секрет их успеха.

— И отчего они не сидят у себя в Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там для женщин — рай.

— Так оно и есть. Потому-то они, подобно прапаматери Еве, и стремятся выбраться оттуда, — пояснил лорд Генри. — Ну, до свиданья, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к завтраку. Спасибо за сведения о Дориане. Я люблю знать все о своих новых знакомых и ничего — о старых.

— А где ты сегодня завтракаешь, Гарри?

— У тетушки Агаты. Я напросился сам и пригласил мистера Грея. Он — ее новый протеже.

— Гм!.. Так вот что, Гарри: передай своей тетушке Агате, чтобы она перестала меня атаковать воззваниями о пожертвованиях. Надоели они мне до смерти. Эта добрая женщина вообразила, что у меня другого дела нет, как только выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи.

— Хорошо, дядя Джордж, передам. Но ведь это бесполезно. Филантропы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие. Это их отличительная черта.

Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил лакею, чтобы тот проводил гостя.

Лорд Генри прошел пассажем на Берлингтон-стрит и направился к Берклей-сквер. Он вспоминал то, что услышал от дяди о родных Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах, история эта взволновала его своей необычайностью, своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви. Несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением. Потом — месяцы новых страданий, рожденный в муках ребенок. Мать унесена смертью, удел сына — сиротство и тирания бессердечного старика. Да, это интересный фон, он выгодно оттеняет облик юноши, придает ему еще больше очарования. За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть родовые муки.

...Как обворожителен был Дориан вчера вечером, когда они обедали вдвоем в клубе! В его ошеломленном взоре и приоткрытых губах читались тревога и робкая радость, а в тени красных абажуров лицо казалось еще розовее и еще ярче выступала его дивная расцветающая красота. Говорить с этим мальчиком было все равно что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка...

А как это увлекательно — проверять силу своего влияния на другого человека! Ничто не может с этим сравниться. Перелить свою душу в другого, дать ей побыть в нем; слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти; передавать другому свой темперамент, как тончайший флюид или своеобразный аромат, — это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век с его грубочувственными утешами и грубопримитивными стремлениями.

...К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Бэзила, — замечательный тип... или, во всяком случае, из него можно сделать нечто замечательное. У него есть все — обаяние, белоснежная чистота юности и красота, та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном — или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть!..

А Бэзил? Как психологически интересно то, что он говорил! Новая манера в живописи, новое восприятие действительности, неожиданно возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, который об этом и не подозревает... Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле, дотоле незримая и безгласная, вдруг, как Дриада, явилась художнику без всякого страха, ибо его душе, давно ее искавшей, дана та вдохновенная прозорливость, которой только и открываются дивные тайны; и простые формы, образы вещей обрели высокое совершенство и некий символический смысл, словно являя художнику иную, более совершенную форму, которая из смутной грезы превратилась в реальность. Как это все необычайно!

Нечто подобное бывало и в прошлые века. Платон, для которого мышление было искусством, первый задумался над этим чудом. А Буонарроти? Разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном мраморе? Но в наш век это удивительно...

И лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана, — собственно, он уже наполовину этого достиг, — и душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя Любви и Смерти!

Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, посмеиваясь над собой, повернул обратно. Когда он вошел в темноватую прихожую, дворецкий доложил ему, что все уже в столовой. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел туда.

— Ты, как всегда, опаздываешь, Гарри! — воскликнула его тетушка, укоризненно качая головой.

Он извинился, тут же придумав какое-то объяснение, и, сев на свободный стул рядом с хозяйкой дома, обвел глазами собравшихся гостей. С другого конца стола ему застенчиво кивнул Дориан, краснея от удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, очень любимая всеми, кто ее знал, дама в высшей степени кроткого и веселого нрава и тех архитектурных пропорций, которые современные историки называют тучностью (когда речь идет не о герцогинях!). Справа от герцогини сидел сэр Томас Бэрден, член парламента, радикал. В общественной жизни он был верным сторонником своего лидера, а в частной — сторонником хорошей кухни, то есть следовал общеизвестному мудрому правилу: «Выступай с либералами, а обедай с консерваторами». По левую руку герцогини занял место мистер Эрскин из Тредли, пожилой джентльмен, весьма культурный и приятный, но усвоивший себе дурную привычку всегда молчать в обществе, ибо, как он однажды объяснил леди Агате, еще до тридцати лет высказал все, что имел сказать.

Соседкой лорда Генри за столом была миссис Ванделер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая так безвкусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником в скверном аляповатом переплете. К счастью для лорда Генри, соседом миссис Ванделер с другой стороны оказался лорд Фаудел, мужчина средних лет, большого ума, но посредственных способностей, бесцветный и скучный, как отчет министра в палате общин. Беседа между ним и миссис Ванделер велась с той усиленной серьезностью, которой, по его же словам, непростительно грешат все добродетельные люди и от которой никто из них никак не может вполне освободиться.

— Мы говорим о бедном Дартмуре, — громко сказала лорду Генри герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. — Как вы думаете, он в самом деле женится на этой обворожительной американке?

— Да, герцогиня. Она, кажется, решила сделать ему предложение.

— Какой ужас! — воскликнула леди Агата. — Право, следовало бы помешать этому!

— Я слышал из самых верных источников, что ее отец в Америке торгует галантереей или каким-то другим убогим товаром, — с презрительной миной объявил сэр Томас Бэрден.

— А мой дядя утверждает, что свининой, сэр Томас.

— Что это еще за «убогий» товар? — осведомилась герцогиня, в удивлении поднимая полные руки.

— Американские романы, — пояснил лорд Генри, принимаясь за куропатку.

Герцогиня была озадачена.

— Не слушайте его, дорогая, — шепнула ей леди Агата. — Он никогда ничего не говорит серьезно.

— Когда была открыта Америка... — начал радикал — и дальше пошли всякие скучнейшие сведения. Как все ораторы, которые ставят себе целью исчерпать тему, он исчерпал терпение слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своей привилегией перебивать других.

— Было бы гораздо лучше, если бы эта Америка совсем не была открыта! — воскликнула она. Ведь американки отбивают у наших девушек всех женихов. Это безобразие!

— Пожалуй, я сказал бы, что Америка вовсе не открыта, — заметил мистер Эрскин. — Она еще только *обнаружена*.

— О, я видела представительниц ее населения, — неопределенным тоном отозвалась герцогиня. — И должна признать, что большинство из них — прехорошенькие. И одеваются прекрасно. Все туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить.

— Есть поговорка, что хорошие американцы после смерти отправляются в Париж, — изрек, хихикая, сэр Томас, у которого имелся в запасе большой выбор потрепанных остроумий.

— Вот как! А куда же отправляются после смерти дурные американцы? — поинтересовалась герцогиня.

— В Америку, — пробормотал лорд Генри. Сэр Томас сдвинул брови.

— Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны, — сказал он леди Агате. — Я изъездил ее всю вдоль и поперек, — мне предоставляли всегда специальные вагоны, тамошние директора весьма любезны, — и, уверяю вас, поездки в Америку имеют большое образовательное значение.

— Неужели же, чтобы стать образованным человеком, необходимо повидать Чикаго? — жалобно спросил мистер Эрскин. — Я не чувствую себя в силах совершить такое путешествие.

Сэр Томас махнул рукой.

— Для мистера Эрскина мир сосредоточен на его книжных полках. А мы, люди дела, хотим своими глазами все видеть, не только читать обо всем. Американцы — очень интересный народ и обладают большим здравым смыслом. Я считаю, что это их самая отличительная черта. Да, да, мистер Эрскин, это весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не делает глупостей.

— Какой ужас! — воскликнул лорд Генри. — Я еще могу примириться с грубой силой, но грубая, тупая рассудочность совершенно невыносима. Руководствоваться рассудком — в этом есть что-то неблагородное. Это значит — предавать интеллект.

— Не понимаю, что вы этим хотите сказать, — отозвался сэр Томас, побагровев.

— А я вас понял, лорд Генри, — с улыбкой пробормотал мистер Эрскин.

— Парадоксы имеют свою прелесть, но... — начал баронет.

— Разве это был парадокс? — спросил мистер Эрскин. — А я и не догадался... Впрочем, может быть, вы правы. Ну, так что же? Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней.

— Господи, как мужчины любят спорить! — вздохнула леди Агата. — Никак не могу взять в толк, о чем вы говорите. А на тебя, Гарри, я очень сердита. Зачем это ты отговариваешь нашего милого мистера Грея работать со мной в Ист-Энде? Пойми, он мог бы оказать нам неоценимые услуги: его игра так всем нравится.

— А я хочу, чтобы он играл для меня, — смеясь, возразил лорд Генри и, глянув туда, где сидел Дориан, встретил его ответный радостный взгляд.

— Но в Уайтчепле видишь столько людского горя! — не унималась леди Агата.

— Я сочувствую всему, кроме людского горя. — Лорд Генри пожал плечами. — Ему я сочувствовать не могу. Оно слишком безобразно, слишком ужасно и угнетает нас. Во всеобщем сочувствии к страданиям есть нечто в высшей степени нездоровое. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. И как можно меньше говорить о темных ее сторонах.

— Но Ист-Энд — очень серьезная проблема, — внушительно заметил сэр Томас, качая головой.

— Несомненно, — согласился лорд Генри. — Ведь это — проблема рабства, и мы пытаемся разрешить ее, увеселяя рабов. Старый политикан пристально посмотрел на него.

— А что же вы предлагаете взамен? — спросил он. Лорд Генри рассмеялся.

— Я ничего не желал бы менять в Англии, кроме погоды, и вполне довольствуюсь философским созерцанием. Но девятнадцатый век пришел к банкротству из-за того, что слишком щедро расточал сострадание. И потому, мне кажется, наставить людей на путь истинный может только Наука. Эмоции хороши тем, что уводят нас с этого пути, а Наука — тем, что она не знает эмоций.

— Но ведь на нас лежит такая ответственность! — робко вмешалась миссис Ванделер.

— Громадная ответственность! — поддержала ее леди Агата. Лорд Генри через стол переглянулся с мистером Эрскином.

— Человечество преувеличивает свою роль на земле. Это — его первородный грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы по другому пути.

— Вы меня очень утешили, — проворковала герцогиня. — До сих пор, когда я бывала у

вашей милой тетушки, мне всегда становилось совестно, что я не интересуюсь Ист-Эндом. Теперь я буду смотреть ей в глаза, не краснея.

— Но румянец женщине очень к лицу, герцогиня, — заметил лорд Генри.

— Только в молодости, — возразила она. — А когда краснеет такая старуха, как я, это очень дурной признак. Ах, лорд Генри, хоть бы вы мне посоветовали, как снова стать молодой!

Лорд Генри подумал с минуту.

— Можете вы, герцогиня, припомнить какую-нибудь большую ошибку вашей молодости? — спросил он, наклонясь к ней через стол.

— Увы, и не одну!

— Тогда совершите их все снова, — сказал он серьезно. Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумства.

— Замечательная теория! — восхитилась герцогиня. — Непременно проверю ее на практике.

— Теория опасная! — процедил сэр Томас сквозь плотно сжатые губы. А леди Агата покачала головой, но невольно засмеялась. Мистер Эрскин слушал молча.

— Да, — продолжал лорд Генри. — Это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от ползучей формы рабского благоразумия, и все слишком поздно спохватываются, что единственное, о чем никогда не пожалеешь, это наши ошибки и заблуждения.

За столом грянул дружный смех.

А лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, давая волю фантазии: он жонглировал ею, преображал ее, то отбрасывал, то подхватывал снова; заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, окрылял парадоксами. Этот гимн безумствам воспарил до высот философии, а Философия обрела юность и, увлеченная дикой музыкой Наслаждения, как вакханка в залитом вином наряде и венке из плюща, понеслась в исступленной пляске по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного Силена. Факты уступали ей дорогу, разлетались, как испуганные лесные духи. Ее обнаженные ноги попирали гигантский камень давяльни, на котором восседает мудрый Омар, и журчащий сок винограда вскипал вокруг этих белых ног волнами пурпуровых брызг, растекаясь затем красной пеной по отлогим черным стенкам чана.

То была блестящая и оригинальная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что Дориан Грей не сводит с него глаз, и сознание, что среди слушателей есть человек, которого ему хочется пленить, оттачивало его остроумие, придавало красочность речам. То, что он говорил, было увлекательно, безответственно, противоречило логике и разуму. Слушатели смеялись, но были невольно очарованы и покорно следовали за полетом его фантазии, как дети — за легендарным дудочником. Дориан Грей смотрел ему в лицо не отрываясь, как замороженный, и по губам его то и дело пробегала улыбка, а в потемневших глазах восхищение сменялось задумчивостью.

Наконец, Действительность в костюме нашего века вступила в комнату в образе слуги, доложившего герцогине, что экипаж ее подан. Герцогиня в шутливом отчаянии заломила руки.

— Экая досада! Приходится уезжать. Я должна заехать в клуб за мужем и отвезти его на какое-то глупейшее собрание, на котором он будет председательствовать. Если опоздаю, он обязательно рассердится, а я стараюсь избегать сцен, когда на мне эта шляпка: она чересчур воздушна, одно резкое слово может ее погубить. Нет, нет, не удерживайте меня, милая Агата. До свидания, лорд Генри! Вы — прелесть, но настоящий демон-искуситель. Я положительно не знаю, что думать о ваших теориях. Непременно приезжайте к нам обедать. Ну, скажем, во вторник. Во вторник вы никуда не приглашены?

— Для вас, герцогиня, я готов изменить всем, — сказал с поклоном лорд Генри.

— О, это очень мило с вашей стороны, но и очень дурно, — воскликнула почтенная дама. — Так помните же, мы вас ждем. — И она величаво выплыла из комнаты, а за ней —

леди Агата и другие дамы.

Когда лорд Генри снова сел на свое место, мистер Эрскин, усевшись рядом, положил ему руку на плечо.

— Ваши речи интереснее всяких книг, — начал он. — Почему вы не напишете что-нибудь?

— Я слишком люблю читать книги, мистер Эрскин, и потому не пишу их. Конечно, хорошо бы написать роман, роман чудесный, как персидский ковер, и столь же фантастический. Но у нас в Англии читают только газеты, энциклопедические словари да учебники. Англичане меньше всех народов мира понимают красоты литературы.

— Боюсь, что вы правы, — отозвался мистер Эрскин. — Я сам когда-то мечтал стать писателем, но давно отказался от этой мысли... Теперь, мой молодой друг, — если позволите вас так называть, — я хочу задать вам один вопрос: вы действительно верите во все то, что говорили за завтраком?

— А я уже совершенно не помню, что говорил. — Лорд Генри улыбнулся. — Какую-нибудь ересь?

— Да, безусловно. На мой взгляд, вы — человек чрезвычайно опасный, и если с нашей милой герцогиней что-нибудь стряется, все мы будем считать вас главным виновником... Я хотел бы побеседовать с вами о жизни. Люди моего поколения прожили жизнь скучно. Как-нибудь, когда Лондон вам надоест, приезжайте ко мне в Тредли. Там вы изложите мне свою философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, которое у меня, к счастью, еще сохранилось.

— С большим удовольствием. Сочту за счастье побывать в Тредли, где такой радушный хозяин и такая замечательная библиотека.

— Вы ее украсите своим присутствием, — отозвался старый джентльмен с учтивым поклоном. — Ну а теперь пойду прощусь с вашей добрейшей тетушкой. Мне пора в Атенеум. В этот час мы обычно дремлем там.

— В полном составе, мистер Эрскин?

— Да, сорок человек в сорока креслах. Таким образом мы готовимся стать Английской академией литературы.

Лорд Генри расхохотался.

— Ну а я пойду в Парк, — сказал он, вставая. У двери Дориан Грей дотронулся до его руки.

— Можно и мне с вами?

— Но вы, кажется, обещали навестить Бэзила Холлуорда?

— Мне больше хочется побыть с вами. Да, да, мне непременно надо пойти с вами. Можно? И вы обещаете все время говорить со мной? Никто не говорит так интересно, как вы. Ох, я сегодня уже достаточно наговорил! — с улыбкой возразил лорд Генри. — Теперь мне хочется только наблюдать жизнь. Пойдемте и будем наблюдать вместе, если хотите.

Глава IV

Однажды днем, месяц спустя, Дориан Грей, расположившись в удобном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри, в его доме на Мэйфер. Это была красивая комната, с высокими дубовыми оливково-зелеными панелями, желтоватым фризом и лепным потолком. По кирпично-красному сукну, покрывавшему пол, разбросаны были шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На столике красного дерева стояла статуэтка Клордиона, а рядом лежал экземпляр «Les Cent Nouvelles»⁶ в переплете работы Кловиса Эв. Книга принадлежала некогда Маргарите Валуа, и переплет ее был усеян золотыми маргаритками — этот цветок королева избрала своей эмблемой. На камине красовались пестрые тюльпаны в

⁶ «Сто новелл» (франц.).

больших голубых вазах китайского фарфора. В окна с частым свинцовым переплетом вливался абрикосовый свет летнего лондонского дня.

Лорд Генри еще не вернулся. Он поставил себе за правило всегда опаздывать, считая, что пунктуальность — вор времени. И Дориан, недовольно хмурясь, рассеянно перелистывал превосходно иллюстрированное издание «Манон Леско», найденное им в одном из книжных шкафов. Размеренно тикали часы в стиле Людовика Четырнадцатого, и даже это раздражало Дориана. Он уже несколько раз порывался уйти, не дождавшись хозяина.

Наконец за дверью послышались шаги, и она отворилась.

— Как вы поздно, Гарри! — буркнул Дориан.

— К сожалению, это не Гарри, мистер Грей, — отозвался высокий и резкий голос.

Дориан поспешно обернулся и вскочил.

— Простите! Я думал...

— Вы думали, что это мой муж. А это только его жена, — разрешите представиться. Вас я уже очень хорошо знаю по фотографиям. У моего супруга их, если не ошибаюсь, семнадцать штук.

— Будто уж семнадцать, леди Генри?

— Ну, не семнадцать, так восемнадцать. И потом я недавно видела вас с ним в опере.

Говоря это, она как-то беспокойно посмеивалась и внимательно смотрела на Дориана своими бегающими, голубыми, как незабудки, глазами. Все туалеты этой странной женщины имели такой вид, как будто они были задуманы в припадке безумия и надеты в бурю. Леди Уоттон всегда была в кого-нибудь влюблена — и всегда безнадежно, так что она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть эффектной, но выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией, и она до страсти любила ходить в церковь — это превратилось у нее в манию.

— Вероятно, на «Лоэнгрине», леди Генри?

— Да, на моем любимом «Лоэнгрине». Музыку Вагнера я предпочитаю всякой другой. Она такая шумная, под нее можно болтать в театре весь вечер, не боясь, что тебя услышат посторонние. Это очень удобно, не так ли, мистер Грей?

Тот же беспокойный и отрывистый смешок сорвался с ее узких губ, и она принялась вертеть в руках длинный черепаховый нож для разрезания бумаги.

Дориан с улыбкой покачал головой.

— Извините, не могу с вами согласиться, леди Генри. Я всегда слушаю музыку внимательно и не болтаю, если она хороша. Ну а скверную музыку, конечно, следует заглушать разговорами.

— Ага, это мнение Гарри, не так ли, мистер Грей? Я постоянно слышу мнения Гарри от его друзей. Только таким путем я их и узнаю. Ну а музыка... Вы не подумайте, что я ее не люблю. Хорошую музыку я обожаю, но боюсь ее — она настраивает меня чересчур романтично. Пианистов я прямо-таки боготворю, иногда влюбляюсь даже в двух разом — так уверяет Гарри. Не знаю, что в них так меня привлекает... Может быть, то, что они иностранцы? Ведь они, кажется, все иностранцы? Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, не правда ли? Это очень разумно с их стороны и создает хорошую репутацию их искусству, делает его космополитичным. Не так ли, мистер Грей?.. Вы, кажется, не были еще ни на одном из моих вечеров? Приходите непременно. Орхидей я не заказываю, это мне не по средствам, но на иностранцев денег не жалею — они придают гостиной такой живописный вид! Ага! Вот и Гарри! Гарри, я зашла, чтобы спросить у тебя кое-что, — не помню, что именно, и застала здесь мистера Грея. Мы с ним очень интересно поговорили о музыке. И совершенно сошлись во мнениях... впрочем, нет — кажется, совершенно разошлись. Но он такой приятный собеседник, и я очень рада, что познакомилась с ним.

— Я тоже очень рад, дорогая, очень рад, — сказал лорд Генри, поднимая томные изогнутые брови и с веселой улыбкой глядя то на жену, то на Дориана. — Извините, что заставил вас ждать, Дориан. Я ходил на Уордор-стрит, где присмотрел кусок старинной парчи, и пришлось торговаться за нее добрых два часа. В наше время люди всему знают

цену, но понятия не имеют о подлинной ценности.

— Как ни жаль, мне придется вас покинуть! — объявила леди Генри, прерывая наступившее неловкое молчание, и засмеялась как всегда, неожиданно и некстати. Я обещала герцогине поехать с ней кататься. До свиданья, мистер Грей! До свиданья, Гарри. Ты, вероятно, обедаешь сегодня в гостях? Я тоже. Может быть, встретимся у леди Торнбэри?

— Очень возможно, дорогая, — ответил лорд Генри, закрывая за ней дверь. Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую ночь пробыла под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване.

— Ни за что не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета, — сказал он после нескольких затяжек.

— Почему, Гарри?

— Они ужасно сентиментальны.

— А я люблю сентиментальных людей.

— Да и вообще лучше не женитесь, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И тем и другим брак приносит разочарование.

— Вряд ли я когда-нибудь женюсь, Гарри. Я слишком влюблен. Это тоже один из ваших афоризмов. Я его претворю в жизнь, как и все, что вы проповедуете.

— В кого же это вы влюблены? — спросил лорд Генри после некоторого молчания.

— В одну актрису, — краснея, ответил Дориан Грей. Лорд Генри пожал плечами.

— Довольно банальное начало.

— Вы не сказали бы этого, если бы видели ее, Гарри.

— Кто же она?

— Ее зовут Сибила Вэйн.

— Никогда не слыхал о такой актрисе.

— И никто еще не слыхал. Но когда-нибудь о ней узнают все. Она гениальна.

— Мой мальчик, женщины не бывают гениями. Они — декоративный пол. Им нечего сказать миру, но они говорят — и говорят премо. Женщина — это воплощение торжествующей над духом материи, мужчина же олицетворяет собой торжество мысли над моралью.

— Помилуйте, Гарри!..

— Дорогой мой Дориан, верьте, это святая правда. Я изучаю женщин, как же мне не знать! И, надо сказать, не такой уж это трудный для изучения предмет. Я пришел к выводу, что в основном женщины делятся на две категории: ненакрашенные и накрашенные. Первые нам очень полезны. Если хотите приобрести репутацию почтенного человека, вам стоит только пригласить такую женщину поужинать с вами. Женщины второй категории очаровательны. Но они совершают одну ошибку: красятся лишь для того, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы прослыть остроумными и блестящими собеседницами: в те времена «rouge»⁷ и «esprit»⁸ считались неразлучными. Нынче все не так. Если женщина добилась того, что выглядит на десять лет моложе своей дочери, она этим вполне удовлетворяется. А остроумной беседы от них не жди. Во всем Лондоне есть только пять женщин, с которыми стоит поговорить, да и то двум из этих пяти не место в приличном обществе... Ну, все-таки расскажите мне про своего гения. Давно вы с ней знакомы?

— Ах, Гарри, ваши рассуждения приводят меня в ужас.

— Пустяки. Так когда же вы с ней познакомились?

— Недели три назад.

— И где?

⁷ Румяна (франц.).

⁸ Остроумие (франц.).

— Сейчас расскажу. Но не вздумайте меня расхолаживать, Гарри! В сущности, не встретиться я с вами, ничего не случилось бы: ведь это вы разбудили во мне страстное желание узнать все о жизни. После нашей встречи у Бэзила я не знал покоя, во мне трепетала каждая жилка. Шатаюсь по Парку или Пикадилли, я с жадным любопытством всматривался в каждого встречного и пытался угадать, какую жизнь он ведет. К некоторым меня тянуло. Другие внушали мне страх. Словно какая-то сладкая отравка была разлита в воздухе. Меня мучила жажда новых впечатлений... И вот раз вечером, часов в семь, я пошел бродить по Лондону в поисках этого нового. Я чувствовал, что в нашем сером огромном городе с мириадами жителей, мерзкими грешниками и пленительными пороками — так вы описывали мне его — припасено кое-что и для меня. Я рисовал себе тысячу вещей... Даже ожидающие меня опасности я предвкушал с восторгом. Я вспоминал ваши слова, сказанные в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе: «Подлинный секрет счастья в искании красоты». Сам не зная, чего жду, я вышел из дому и зашагал по направлению к Ист-Энду. Скоро я заблудился в лабиринте грязных улиц и унылых бульваров без зелени. Около половины девятого я проходил мимо какого-то жалкого театрала с большими газовыми рожками и кричащими афишами у входа. Препротивный еврей в уморительной жилетке, какой я в жизни не видывал, стоял у входа и курил дрянную сигару. Волосы у него были сальные, завитые, а на грязной манишке сверкал громадный бриллиант. «Не угодно ли ложу, милорд?» — предложил он, увидев меня, и с подчеркнутой любезностью снял шляпу. Этот урод показался мне занятным. Вы, конечно, посмеетесь надо мной — но представьте, Гарри, я вошел и заплатил целую гинею за ложу у сцены. До сих пор не понимаю, как это вышло. А ведь не сделай я этого, — ах, дорогой мой Гарри, не сделай я этого, я пропустил бы прекраснейший роман моей жизни!.. Вы смеетесь? Честное слово, это возмутительно!

— Я не смеюсь, Дориан. Во всяком случае, смеюсь не над вами. Но не надо говорить, что это прекраснейший роман вашей жизни. Скажите лучше: «первый». В вас всегда будут влюбляться, и вы всегда будете влюблены в любовь. *Grande passion*⁹ — привилегия людей, которые проводят жизнь в праздности. Это единственное, на что способны нетрудящиеся классы. Не бойтесь, у вас впереди много чудесных переживаний. Это только начало.

— Так вы меня считаете настолько поверхностным человеком? — воскликнул Дориан Грей.

— Наоборот, глубоко чувствующим.

— Как так?

— Мой мальчик, поверхностными людьми я считаю как раз тех, кто любит только раз в жизни. Их так называемая верность, постоянство — лишь летаргия привычки или отсутствие воображения. Верность в любви, как и последовательность и неизменность мыслей, — это попросту доказательство бессилия... Верность! Когда-нибудь я займусь анализом этого чувства. В нем — жадность собственника. Многое мы охотно бросили бы, если бы не боязнь, что кто-нибудь другой это подберет... Но не буду больше перебивать вас. Рассказывайте дальше.

— Так вот — я очутился в скверной, тесной ложе у сцены, и перед глазами у меня был аляповато размазанный занавес. Я стал осматривать зал. Он был отделан с мишурной роскошью, везде — купидоны и рога изобилия, как на дешевом свадебном торте. Галерея и задние ряды были переполнены, а первые ряды обтрепанных кресел пустовали, да и на тех местах, что здесь, кажется, называют балконом, не видно было ни души. Между рядами ходили продавцы имбирного пива и апельсинов, и все зрители ожесточенно щелкали орехи.

— Точь-в-точь как в славные дни расцвета британской драмы!

— Да, наверное. Обстановка эта действовала угнетающе. И я уже подумывал, как бы мне выбраться оттуда, но тут взгляд мой упал на афишу. Как вы думаете, Гарри, что за пьеса шла в тот вечер?

⁹ Великая страсть (франц.).

— Ну что-нибудь вроде «Идиот» или «Немой невиновен». Деды наши любили такие пьесы. Чем дольше я живу на свете, Дориан, тем яснее вижу: то, чем удовлетворялись наши деды, для нас уже не годится. В искусстве, как и в политике, *les grand-peres ont toujours tort*.¹⁰

— Эта пьеса, Гарри, и для нас достаточно хороша: это был Шекспир, «Ромео и Джульетта». Признаться, сначала мне стало обидно за Шекспира, которого играют в такой дыре. Но в то же время это меня немного заинтересовало. Во всяком случае, я решил посмотреть первое действие. Заиграл ужасающий оркестр, которым управлял молодой еврей, сидевший за разбитым пианино. От этой музыки я чуть не сбежал из зала, но наконец занавес поднялся, и представление началось. Ромео играл тучный пожилой мужчина с наведенными жженой пробкой бровями и хриплым трагическим голосом. Фигурой он напоминал пивной бочонок. Меркуцио был немногим лучше. Эту роль исполнял комик, который привык играть в фарсах. Он вставлял в текст отсебятину и был в самых дружеских отношениях с галеркой. Оба эти актера были так же нелепы, как и декорации, и все вместе напоминало ярмарочный балаган. Но Джульетта!.. Гарри, представьте себе девушку лет семнадцати, с нежным, как цветок, личиком, с головкой гречанки, обвитой темными косами. Глаза — синие озера страсти, губы — лепестки роз. Первый раз в жизни я видел такую дивную красоту! Вы сказали как-то, что никакой пафос вас не трогает, но красота, одна лишь красота способна вызвать у вас слезы. Так вот, Гарри, я с трудом мог разглядеть эту девушку, потому что слезы туманили мне глаза. А голос! Никогда я не слышал такого голоса! Вначале он был очень тих, но каждая его глубокая, ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши. Потом он стал громче и звучал, как флейта или далекий гобой. Во время сцены в саду в нем зазвенел тот трепетный восторг, что звучит перед зарей в песне соловья. Бывали мгновения, когда слышалось в нем иступленное пение скрипок. Вы знаете, как может волновать чей-нибудь голос. Ваш голос и голос Сибилы Вэйн мне не забыть никогда! Стоит мне закрыть глаза — и я слышу ваши голоса. Каждый из них говорит мне другое, и я не знаю, которого слушаться... Как мог я не полюбить ее? Гарри, я ее люблю. Она для меня все. Каждый вечер я вижу ее на сцене. Сегодня она — Розалинда, завтра — Имоджена. Я видел ее в Италии умирающей во мраке склепа, видел, как она в поцелуе выпила яд с губ возлюбленного. Я следил за ней, когда она бродила по Арденнским лесам, переодетая юношей, прелестная в этом костюме — коротком камзоле, плотно обтягивающих ноги штанах, изящной шапочке. Безумная, приходила она к преступному королю и давала ему руту и горькие травы. Она была невинной Дездемоной, и черные руки ревности сжимали ее тонкую, как тростник, шейку. Я видел ее во все века и во всяких костюмах. Обыкновенные женщины не волнуют нашего воображения. Они не выходят за рамки своего времени. Они не способны преображаться как по волшебству. Их души нам так же знакомы, как их шляпки. В них нет тайны. По утрам они катаются верхом в Парке, днем болтают со знакомыми за чайным столом. У них стереотипная улыбка и хорошие манеры. Они для нас — открытая книга. Но актриса!.. Актриса — совсем другое дело. И отчего вы мне не сказали, Гарри, что любить стоит только актрису?

— Оттого, что я любил очень многих актрис, Дориан.

— О, знаю я каких: этих ужасных женщин с крашеными волосами и размалеванными лицами.

— Не презирайте крашеные волосы и размалеванные лица, Дориан! В них порой находишь какую-то удивительную прелесть.

— Право, я жалею, что рассказал вам о Сибиле Вэйн!

— Вы не могли не рассказать мне, Дориан. Вы всю жизнь будете мне верить все.

— Да, Гарри, пожалуй, вы правы. Я ничего не могу от вас скрыть. Вы имеете надо мной какую-то непонятную власть. Даже если бы я когда-нибудь совершил преступление, я

¹⁰ Деды всегда не правы (франц.).

пришел бы и признался вам. Вы поняли бы меня.

— Такие, как вы, Дориан, — своиравные солнечные лучи, озаряющие жизнь, — не совершают преступлений. А за лестное мнение обо мне спасибо! Ну, теперь скажите... Передайте мне спички, пожалуйста! Благодарю... Скажите, как далеко зашли ваши отношения с Сибиллой Вэйн?

Дориан вскочил, весь вспыхнув, глаза его засверкали.

— Гарри! Сибилла Вэйн для меня святыня!

— Только святыни и стоит касаться, Дориан, — сказал лорд Генри с ноткой пафоса в голосе, — И чего вы рассердились? Ведь рано или поздно, я полагаю, она будет вашей. Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого. Это и принято называть романом. Надеюсь, вы уже, по крайней мере, познакомились с нею?

— Ну, разумеется. В первый же вечер тот противный старый еврей после спектакля пришел в ложу и предложил провести меня за кулисы и познакомить с Джульеттой. Я вскипел и сказал ему, что Джульетта умерла несколько сот лет тому назад и прах ее покоится в мраморном склепе в Вероне. Он слушал меня с величайшим удивлением, — наверное, подумал, что я выпил слишком много шампанского...

— Вполне возможно.

— Затем он спросил, не пишу ли я в газетах. Я ответил, что даже не читаю их. Он, видимо, был сильно разочарован и сообщил мне, что все театральные критики в заговоре против него и все они продажны.

— Пожалуй, в этом он совершенно прав. Впрочем, судя по их виду, большинство критиков продаются за недорогую цену.

— Ну, и он, по-видимому, находит, что ему они не по карману, — сказал Дориан со смехом, — Пока мы так беседовали, в театре стали уже гасить огни, и мне пора было уходить. Еврей настойчиво предлагал мне еще какие-то сигары, усиленно их расхваливая, но я и от них отказался. В следующий вечер я, конечно, опять пришел в театр. Увидев меня, еврей отвесил низкий поклон и объявил, что я щедрый покровитель искусства. Пренеприятный субъект, — однако, надо вам сказать, он страстный поклонник Шекспира. Он с гордостью сказал мне, что пять раз прогорал только из-за своей любви к «барду» (так он упорно величает Шекспира). Он, кажется, считает это своей великой заслугой.

— Это и в самом деле заслуга, дорогой мой, великая заслуга! Большинство людей становятся банкротами из-за чрезмерного пристрастия не к Шекспиру, а к прозе жизни. И разориться из-за любви к поэзии — это честь... Ну, так когда же вы впервые заговорили с мисс Сибиллой Вэйн?

— В третий вечер. Она тогда играла Розалинду. Я наконец сдался и пошел к ней за кулисы. До того я бросил ей цветы, и она на меня взглянула... По крайней мере, так мне показалось... А старый еврей все приставал ко мне — он, видимо, решил во что бы то ни стало свести меня к Сибиле. И я пошел... Не правда ли, это странно, что мне так не хотелось с ней знакомиться?

— Нет, ничуть не странно.

— А почему же, Гарри? — Объясню как-нибудь потом. Сейчас я хочу дослушать ваш рассказ об этой девушке.

— О Сибиле? Она так застенчива и мила. В ней много детского. Когда я стал восторгаться ее игрой, она с очаровательным изумлением широко открыла глаза — она совершенно не сознает, какой у нее талант! Оба мы в тот вечер были, кажется, порядком смущены. Еврей торчал в дверях пыльного фойе и, ухмыляясь, красноречиво разглагольствовал, а мы стояли и молча смотрели друг на друга, как дети! Старик упорно величал меня «милордом», и я поторопился уверить Сибилу, что я вовсе не лорд. Она сказала простодушно: "Вы скорее похожи на принца. Я буду называть вас «Прекрасный Принц».

— Клянусь честью, мисс Сибилла умеет говорить комплименты!

— Нет, Гарри, вы не понимаете: для нее я — все равно что герой какой-то пьесы. Она

совсем не знает жизни. Живет с матерью, замученной, увядшей женщиной, которая в первый вечер играла леди Капулетти в каком-то красном капоте. Заметно, что эта женщина знавала лучшие дни.

— Встречал я таких... Они на меня всегда наводят тоску, — вставил лорд Генри, разглядывая свои перстни.

— Еврей хотел рассказать мне ее историю, но я не стал слушать, сказал, что меня это не интересует.

— И правильно сделали. В чужих драмах есть что-то безмерно жалкое.

— Меня интересует только сама Сибила. Какое мне дело до ее семьи и происхождения? В ней все — совершенство, все божественно — от головы до маленьких ножек. Я каждый вечер хожу смотреть ее на сцене, и с каждым вечером она кажется мне все чудеснее.

— Так вот почему вы больше не обедаете со мной по вечерам! Я так и думал, что у вас какой-нибудь роман. Однако это не совсем то, чего я ожидал.

— Гарри, дорогой, ведь мы каждый день — либо завтракаем, — либо ужинаем вместе! И, кроме того, я несколько раз ездил с вами в оперу, — удивленно возразил Дориан.

— Да, но вы всегда бессовестно опаздываете.

— Что поделаешь! Я должен видеть Сибилу каждый вечер, хотя бы в одном акте. Я уже не могу жить без нее. И когда я подумаю о чудесной душе, заключенной в этом хрупком теле, словно выточенном из слоновой кости, меня охватывает благоговейный трепет.

— А сегодня, Дориан, вы не могли бы пообедать со мной?

Дориан покачал головой.

— Сегодня она — Имоджена. Завтра вечером будет Джульеттой.

— А когда же она бывает Сибилой Вэйн?

— Никогда.

— Ну, тогда вас можно поздравить!

— Ах, Гарри, как вы несносны! Поймите, в ней живут все великие героини мира! Она более чем одно существо. Смеетесь? А я вам говорю: она — гений. Я люблю ее: я сделаю все, чтобы и она полюбила меня. Вот вы постигли все тайны жизни — так научите меня, как приворожить Сибилу Вэйн! Я хочу быть счастливым соперником Ромео, заставить его ревновать. Хочу, чтобы все жившие когда-то на земле влюбленные услышали в своих могилах наш смех и опечалились, чтобы дыхание нашей страсти потревожило их прах, пробудило его и заставило страдать. Боже мой, Гарри, если бы вы знали, как я ее обожаю!

Так говорил Дориан, в волнении шагая из угла в угол. На щеках его пылал лихорадочный румянец. Он был сильно возбужден.

Лорд Генри наблюдал за ним с тайным удовольствием. Как непохож был Дориан теперь на того застенчивого и робкого мальчика, которого он встретил в мастерской Бэзила Холлуорда! Все его существо раскрылось, как цветок, расцвело пламенно-алым цветом. Душа вышла из своего тайного убежища, и Желание поспешило ей навстречу.

— Что же вы думаете делать? — спросил наконец лорд Генри.

— Я хочу, чтобы вы и Бэзил как-нибудь поехали со мной в театр и увидели ее на сцене. Ничуть не сомневаюсь, что и вы оцените ее талант. Потом надо будет вырвать ее из рук этого еврея. Она связана контрактом на три года, — впрочем, теперь осталось уже только два года и восемь месяцев. Конечно, я заплачу ему. Когда все будет улажено, я сниму какой-нибудь театр в Вест-Энде и покажу ее людям во всем блеске. Она сведет с ума весь свет, точно так же как свела меня.

— Ну, это вряд ли, милый мой!

— Вот увидите! В ней чувствуется не только замечательное артистическое чутье, но и яркая индивидуальность! И ведь вы не раз твердили мне, что в наш век миром правят личности, а не идеи.

— Хорошо, когда же мы отправимся в театр?

— Сейчас соображу... Сегодня вторник. Давайте завтра! Завтра она играет Джульетту.

— Отлично. Встретимся в восемь в «Бристоле». Я привезу Бэзила.

— Только не в восемь, Гарри, а в половине седьмого. Мы должны попасть в театр до поднятия занавеса. Я хочу, чтобы вы ее увидели в той сцене, когда она в первый раз встречается с Ромео.

— В половине седьмого! В такую рань! Да это все равно что унизиться до чтения английского романа. Нет, давайте в семь. Ни один порядочный человек не обедает раньше семи. Может, вы перед этим съездите к Бэзилу? Или просто написать ему?

— Милый Бэзил! Вот уже целую неделю я не показывался ему на глаза. Это просто бессовестно — ведь он прислал мне мой портрет в великолепной раме, заказанной по его рисунку... Правда, я немножко завидую этому портрету, который на целый месяц моложе меня, но, признаюсь, я от него в восторге. Пожалуй, лучше будет, если вы напишете Бэзилу. Я не хотел бы с ним встретиться с глазу на глаз — все, что он говорит, нагоняет на меня скуку. Он постоянно дает мне добрые советы.

Лорд Генри улыбнулся.

— Некоторые люди очень охотно отдают то, что им самим крайне необходимо. Вот что я называю верхом великодушия!

— Бэзил — добрейшая душа, но, по-моему, он немного филистер. Я это понял, когда узнал вас, Гарри.

— Видите ли, мой друг, Бэзил все, что в нем есть лучшего, вкладывает в свою работу. Таким образом, для жизни ему остаются только предрассудки, моральные правила и здравый смысл. Из всех художников, которых я знал, только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые живут своим творчеством и поэтому сами по себе совсем неинтересны. Великий поэт — подлинно великий — всегда оказывается самым прозаическим человеком. А второстепенные — обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры. Если человек выпустил сборник плохих сонетов, можно заранее сказать, что он совершенно неотразим. Он вносит в свою жизнь ту поэзию, которую не способен внести в свои стихи. А поэты другого рода изливают на бумаге поэзию, которую не имеют смелости внести в жизнь.

— Не знаю, верно ли это, Гарри, — промолвил Дориан Грей, смачивая свой носовой платок духами из стоявшего на столе флакона с золотой пробкой. — Должно быть, верно, раз вы так говорите... Ну, я ухожу, меня ждет Имоджена. Не забудьте же о завтрашней встрече. До свиданья.

Оставшись один, лорд Генри задумался, опустив тяжелые веки. Несомненно, мало кто интересовал его так, как Дориан Грей, однако то, что юноша страстно любил кого-то другого, не вызывало в душе лорда Генри ни малейшей досады или ревности. Напротив, он был даже рад этому: теперь Дориан становится еще более любопытным объектом для изучения. Лорд Генри всегда преклонялся перед научными методами естествоиспытателей, но область их исследований находил скучной и незначительной. Свои собственные исследования он начал с вивисекции над самим собой, затем стал производить вивисекцию над другими. Жизнь человеческая — вот что казалось ему единственно достойным изучения. В сравнении с нею все остальное ничего не стоило. И, разумеется, наблюдатель, изучающий кипение жизни в ее своеобразном горниле радостей и страданий, не может при этом защитить лицо стеклянной маской и уберечься от удушливых паров, дурманных мозг и воображение чудовищными образами, жуткими кошмарами. В этом горниле возникают яды столь тонкие, что изучить их свойства можно лишь тогда, когда сам отравишься ими, и гнездятся болезни столь странные, что понять их природу можно, лишь переболев ими. А все-таки какая великая награда ждет отважного исследователя! Каким необычайным предстанет перед ним мир! Постигнуть удивительно жестокую логику страсти и расцвеченную эмоциями жизнь интеллекта, узнать, когда та и другая сходятся и когда расходятся, в чем они едины и когда наступает разлад — что за наслаждение! Не все ли равно, какой ценой оно покупается? За каждое новое неизведанное ощущение не жаль заплатить чем угодно.

Лорд Генри понимал (и при этой мысли его темные глаза весело заблестели), что

именно его речи, музыка этих речей, произнесенных его певучим голосом, обратили душу Дориана к прелестной девушке и заставили его преклониться перед ней. Да, мальчик был в значительной мере его созданием и благодаря ему так рано пробудился к жизни. А это разве не достижение? Обыкновенные люди ждут, чтобы жизнь сама открыла им свои тайны, а немногим избранныкам тайны жизни открываются раньше, чем поднимется завеса. Иногда этому способствует искусство (и главным образом литература), воздействуя непосредственно на ум и чувства. Но бывает, что роль искусства берет на себя в этом случае какой-нибудь человек сложной души, который и сам представляет собой творение искусства, — ибо Жизнь, подобно поэзии, или скульптуре, или живописи, также создает свои шедевры.

Да, Дориан рано созрел. Весна его еще не прошла, а он уже собирает урожай. В нем весь пыл и жизнерадостность юности, но при этом он уже начинает разбираться в самом себе. Наблюдать его — истинное удовольствие! Этот мальчик с прекрасным лицом и прекрасной душой вызывает к себе живой интерес. Не все ли равно, *чем* все кончится, *какая* судьба ему уготована? Он подобен тем славным героям пьес или мистерий, чьи радости нам чужды, но чьи страдания будят в нас любовь к прекрасному. Их раны — красные розы.

Душа и тело, тело и душа — какая это загадка! В душе таятся животные инстинкты, а телу дано испытать минуты одухотворяющие. Чувственные порывы способны стать утонченными, а интеллект — отупеть. Кто может сказать, *когда* умолкает плоть и начинает говорить душа? Как поверхностны и произвольны авторитетные утверждения психологов! И при всем том — как трудно решить, которая из школ ближе к истине! Действительно ли душа человека — лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или, как полагал Джордано Бруно, тело заключено в духе? Расставание души с телом — такая же непостижимая загадка, как их слияние.

Лорд Генри задавал себе вопрос, сможет ли когда-нибудь психология благодаря нашим усилиям стать абсолютно точной наукой, раскрывающей малейшие побуждения, каждую сокровенную черту нашей внутренней жизни? Сейчас мы еще не понимаем самих себя и редко понимаем других. Опыт не имеет никакого морального значения; опытом люди называют свои ошибки. Моралисты, как правило, всегда видели в опыте средство предостережения и считали, что он влияет на формирование характера. Они славили опыт, ибо он учит нас, чему надо следовать и чего избегать. Но опыт не обладает движущей силой. В нем так же мало действенного, как и в человеческом сознании. По существу, он только свидетельствует, что наше грядущее обычно бывает подобно нашему прошлому и что грех, совершенный однажды с содроганием, мы повторяем в жизни много раз — но уже с удовольствием.

Лорду Генри было ясно, что только экспериментальным путем можно прийти к научному анализу страстей. А Дориан Грей — под рукой, он, несомненно, подходящий объект, и изучение его обещает дать богатейшие результаты. Его мгновенно вспыхнувшая безумная любовь к Сибиле Вэйн — очень интересное психологическое явление. Конечно, немалую роль тут сыграло любопытство — да, любопытство и жажда новых ощущений. Однако эта любовь — чувство не примитивное, а весьма сложное. То, что в ней порождено чисто чувственными инстинктами юности, самому Дориану представляется чем-то возвышенным, далеким от чувственности, — и по этой причине оно еще опаснее. Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами. А слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно. И часто человек воображает, будто он производит опыт над другими, тогда как в действительности производит опыт над самим собой.

Так размышлял лорд Генри, когда раздался стук в дверь. Вошел камердинер и напомнил ему, что пора переодеваться к обеду. Лорд Генри встал и выглянул на улицу. Закатное солнце обливало пурпуром и золотом верхние окна в доме напротив, и стекла сверкали, как листы раскаленного металла. Небо над крышами было блекло-розовое. А лорд

Генри думал о пламенной юности своего нового друга и пытался угадать, какая судьба ждет Дориана.

Вернувшись домой около половины первого ночи, он увидел на столе в прихожей телеграмму. Дориан Грей извещал его о своей помолвке с Сибиллой Вэйн.

Глава V

— Мама, мама, я так счастлива! — шептала девушка, прижимаясь щекой к коленям женщины с усталым, поблекшим лицом, которая сидела спиной к свету, в единственном кресле убогой и грязноватой гостиной. — Я так счастлива, — повторила Сибилла. — И ты тоже должна радоваться!

Миссис Вэйн судорожно обняла набеленными худыми руками голову дочери.

— Радоваться? — отозвалась она. — Я радуюсь, Сибилла, только тогда, когда вижу тебя на сцене. Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс сделал нам много добра. И мы еще до сих пор не вернули ему его деньги...

Девушка подняла голову и сделала недовольную гримаску.

— Деньги? — воскликнула она. — Ах, мама, какие пустяки! Любовь важнее денег.

— Мистер Айзекс дал нам вперед пятьдесят фунтов, чтобы мы могли уплатить долги и как следует снарядить в дорогу Джеймса. Не забывай этого, Сибилла. Пятьдесят фунтов — большие деньги. Мистер Айзекс к нам очень внимателен...

— Но он не джентльмен, мама! И мне противна его манера разговаривать со мной, — сказала девушка, вставая и подходя к окну.

— Не знаю, что бы мы стали делать, если бы не он, — ворчливо возразила мать.

Сибилла откинула голову и рассмеялась.

— Он нам больше не нужен, мама. Теперь нашей жизнью будет распоряжаться Прекрасный Принц.

Она вдруг замолчала. Кровь прилила к ее лицу, розовой тенью покрыла щеки. От учащенного дыхания раскрылись лепестки губ. Они трепетали. Знойный ветер страсти налетел и, казалось, даже шевельнул мягкие складки платья.

— Я люблю его, — сказала Сибилла просто.

— Глупышка! Ох, глупышка! — как попугай твердила мать в ответ. И движения ее скрюченных пальцев, униженных дешевыми перстнями, придавали этим словам что-то жутко-нелепое.

Девушка снова рассмеялась. Радость плененной птицы звенела в ее смехе. Той же радостью сияли глаза, и Сибилла на мгновение зажмурила их, словно желая скрыть свою тайну. Когда же она их снова открыла, они были затуманены мечтой.

Узкогубая мудрость взывала к ней из обтрепанного кресла, проповедуя благоразумие и осторожность, приводя сентенции из книги трусости, выдающей себя за здравый смысл. Сибилла не слушала. Добровольная пленница Любви, она в эти минуты была не одна. Ее принц, Прекрасный Принц, был с нею. Она призвала Память, и Память воссоздала его образ. Она выслала душу свою на поиски, и та привела его. Его поцелуй еще пылал на ее губах, веки еще согревало его дыхание.

Мудрость между тем переменяла тактику и заговорила о необходимости проверить, навести справки... Этот молодой человек, должно быть, богат. Если так, надо подумать о браке... Но волны житейской хитрости разбивались об уши Сибиллы, стрелы коварства летели мимо. Она видела только, как шевелятся узкие губы, и улыбалась.

Вдруг она почувствовала потребность заговорить. Насыщенное словами молчание тревожило ее.

— Мама, мама, — воскликнула она. — За что он так любит меня? Я знаю, за что я полюбила его: он прекрасен, как сама Любовь. Но что он нашел во мне? Ведь я его не стою... А все-таки, — не знаю отчего, — хотя я совсем его недостойна, я ничуть не стыжусь этого. Я горда, ох, как горда своей любовью! Мама, ты моего отца тоже любила так, как я

люблю Прекрасного Принца?

Лицо старой женщины побледнело под толстым слоем дешевой пудры, сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Сибила подбежала к матери, обняла ее и поцеловала.

— Прости, мамочка! Знаю, тебе больно вспоминать об отце. Это потому, что ты горячо его любила. Ну, не будь же так печальна! Сегодня я счастлива, как ты была двадцать лет назад. Ах, не мешай мне стать счастливой на всю жизнь!

— Дитя мое, ты слишком молода, чтобы влюбляться. И притом — что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже имени его не знаешь. Все это в высшей степени неприлично. Право, в такое время, когда Джеймс уезжает от нас в Австралию и у меня столько забот, тебе следовало бы проявить больше чуткости... Впрочем, если окажется, что он богат...

— Ах, мама, мама, не мешай моему счастью!

Миссис Вэйн взглянула на дочь — и заключила ее в объятия. Это был один из тех театральных жестов, которые у актеров часто становятся как бы «второй натурой». В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел коренастый, несколько неуклюжий юноша с взлохмаченными темными волосами и большими руками и ногами. В нем не было и следа того тонкого изящества, которое отличало его сестру. Трудно было поверить, что они в таком близком родстве.

Миссис Вэйн устремила глаза на сына, и улыбка ее стала шире. Сын в эту минуту заменял ей публику, и она чувствовала, что они с дочерью представляют интересное зрелище.

— Ты могла бы оставить и для меня несколько поцелуев, Сибила, — сказал юноша с шутливым упреком.

— Да ты же не любишь целоваться, Джим, — отозвалась Сибила. — Ты — угрюмый старый медведь!

Она подскочила к брату и обняла его.

Джеймс Вэйн нежно заглянул ей в глаза.

— Пойдем погуляем напоследок, Сибила. Наверное, я никогда больше не вернусь в этот противный Лондон. И вовсе не жалею об этом.

— Сын мой, не говори таких ужасных вещей! — пробормотала миссис Вэйн со вздохом и, достав какой-то мишурный театральный наряд, принялась чинить его. Она была несколько разочарована тем, что Джеймс не принял участия в трогательной сцене, — ведь эта сцена тогда была бы еще эффектнее.

— А почему не говорить, раз это правда, мама?

— Ты очень огорчаешь меня, Джеймс. Я надеюсь, что ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. В колониях не найдешь хорошего общества. Да, ничего похожего на приличное общество там и в помине нет... Так что, когда наживешь состояние, возвращайся на родину и устраивайся в Лондоне.

— «Хорошее общество», подумаешь! — буркнул Джеймс. — Очень оно мне нужно! Мне бы только заработать денег, чтобы ты и Сибила могли уйти из театра. Ненавижу я его!

— Ах, Джеймс, какой же ты ворчун! — со смехом сказала Сибила. — Так ты вправду хочешь погулять со мной? Чудесно! А я боялась, что ты уйдешь прощаться со своими товарищами, с Томом Харди, который подарил тебе эту безобразную трубку, или Недом Лэнгтоном, который насмехается над тобой, когда ты куришь. Очень мило, что ты решил провести последний день со мной. Куда же мы пойдем? Давай сходим в Парк!

— Нет, я слишком плохо одет, — возразил Джеймс, нахмурившись. — В Парке гуляет только шикарная публика.

— Глупости, Джим! — шепнула Сибила, поглаживая рукав его потрепанного пальто.

— Ну, ладно, — сказал Джеймс после минутного колебания. — Только ты одевайся поскорее.

Сибила выпорхнула из комнаты, и слышно было, как она поет, взбегая по лестнице. Потом ее ножки затоптали где-то наверху.

Джеймс несколько раз прошелся из угла в угол. Затем повернулся к неподвижной фигуре в кресле и спросил:

— Мама, у тебя все готово?

— Все готово, Джеймс, — ответила она, не поднимая глаз от шитья. Последние месяцы миссис Вэйн бывало как-то не по себе, когда она оставалась наедине со своим суровым и грубоватым сыном. Ограниченная и скрытная женщина приходила в смятение, когда их глаза встречались. Часто задавала она себе вопрос, не подозревает ли сын что-нибудь.

Джеймс не говорил больше ни слова, и это молчание стало ей невтерпёж. Тогда она пустила в ход упрёки и жалобы. Женщины, защищаясь, всегда переходят в наступление. А их наступление часто кончается внезапной и необъяснимой сдачей.

— Дай бог, чтобы тебе понравилась жизнь моряка, Джеймс, — начала миссис Вэйн. — Не забывай, что ты сам этого захотел. А ведь мог бы поступить в контору какого-нибудь адвоката. Адвокаты — весьма почтенное сословие, в провинции их часто приглашают в самые лучшие дома.

— Не терплю контор и чиновников, — отрезал Джеймс. — Что я сам сделал выбор — это верно. Свою жизнь я проживу так, как мне нравится. А тебе, мама, на прощанье скажу одно: береги Сибилу. Смотри, чтобы с ней не случилось беды! Ты должна охранять ее!

— Не понимаю, зачем ты это говоришь, Джеймс. Разумеется, я Сибилу оберегаю.

— Я слышал, что какой-то господин каждый вечер бывает в театре и ходит за кулисы к Сибиле. Это правда? Что ты на это скажешь?

— Ах, Джеймс, в этих вещах ты ничего не смыслишь. Мы, актеры, привыкли, чтобы нам оказывали самое любезное внимание. Меня тоже когда-то засыпали букетами. В те времена люди умели ценить наше искусство. Ну а что касается Сибилы... Я еще не знаю, прочно ли ее чувство, серьезно ли оно. Но этот молодой человек, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда так учтив со мной. И по всему заметно, что богат, — он посылает Сибиле чудесные цветы.

— Но ты даже имени его не знаешь! — сказал юноша резко.

— Нет, не знаю, — с тем же безмятежным спокойствием ответила мать. — Он не открыл еще нам своего имени. Это очень романтично. Наверное, он из самого аристократического круга.

Джеймс Вэйн прикусил губу.

— Береги Сибилу, мама! — сказал он опять настойчиво. — Смотри за ней хорошенько!

— Сын мой, ты меня очень обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибиле? Конечно, если этот джентльмен богат, почему ей не выйти за него? Я уверена, что он знатного рода. Это по всему видно. Сибилла может сделать блестящую партию. И они будут прелестной парой, — он замечательно красив, его красота всем бросается в глаза.

Джеймс проворчал что-то себе под нос, барабанил пальцами по стеклу. Он обернулся к матери и хотел что-то еще сказать, но в эту минуту дверь отворилась и вбежала Сибилла.

— Что это у вас обоих такой серьезный вид? — воскликнула она. — В чем дело?

— Ни в чем, — сказал Джеймс. — Не все же смеяться, иной раз надо и серьезным быть. Ну, прощай, мама. Я приду обедать к пяти. Все уложено, кроме рубашек, так что ты не беспокойся.

— До свиданья, сын мой, — отозвалась миссис Вэйн и величественно, но с натянутым видом кивнула Джеймсу. Ее сильно раздосадовал тон, каким он говорил с ней, а выражение его глаз пугало ее.

— Поцелуй меня, мама, — сказала Сибилла. Ее губы, нежные, как цветочные лепестки, коснулись увядшей щеки и согрели ее.

— О дитя мое, дитя мое! — воскликнула миссис Вэйн, поднимая глаза к потолку в поисках воображаемой галерки.

— Ну, пойдем, Сибилла! — нетерпеливо позвал Джеймс. Он не выносил аффектации, к которой так склонна была его мать.

Брат и сестра вышли на улицу, где солнечный свет спорил с ветром, нагонявшим тучки,

и пошли по унылой Юстон-Род. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого и нескладного паренька в дешевом, плохо сшитом костюме, шедшего с такой изящной и грациозной девушкой. Он напоминал деревенщину-садовника с прелестной розой.

По временам Джим хмурился, перехватывая чей-нибудь любопытный взгляд. Он терпеть не мог, когда на него глазели, — чувство, знакомое гениям только на закате жизни, но никогда не оставляющее людей заурядных. Сибила же совершенно не замечала, что ею любуются. В ее смехе звенела радость любви. Она думала о Прекрасном Принце, но, чтобы ничто не мешало ей упиваться этими мыслями, не говорила о нем, а болтала о корабле, на котором будет плавать Джеймс, о золоте, которое он непременно найдет в Австралии, о воображаемой красивой и богатой девушке, которую он спасет, освободив из рук разбойников в красных рубахах. Сибила и мысли не допускала, что Джеймс на всю жизнь останется простым матросом, или третьим помощником капитана, или кем-либо в таком роде. Нет, нет! Жизнь моряка ужасна! Сидеть, как птица в клетке, на каком-нибудь противном корабле, когда его то и дело атакуют с хриплым ревом горбатые волны, а злой ветер гнет мачты и рвет паруса на длинные свистящие ленты! Как только корабль прибудет в Мельбурн, Джеймсу следует вежливо сказать капитану «прости» и высадиться на берег и сразу же отправиться на золотые прииски. Недели не пройдет, как он найдет большущий самородок чистого золота, какого еще никто никогда не находил, и перевезет его на побережье в фургоне под охраной шести конных полицейских. Скрывающиеся в зарослях бандиты трижды нападут на них, произойдет кровопролитная схватка, и бандиты будут отброшены... Или нет, не надо никаких золотых приисков, там ужас что творится, люди отравляют друг друга, в барах стрельба, ругань. Лучше Джеймсу стать мирным фермером, разводить овец. И в один прекрасный вечер, когда он верхом будет возвращаться домой, он увидит, как разбойник на черном коне увозит прекрасную знатную девушку, пустится за ним в погоню и спасет красавицу. Ну а потом она, конечно, влюбится в него, а он — в нее, и они пожениятся, вернутся в Лондон и будут жить здесь, в большущем доме. Да, да, Джеймса ждут впереди чудесные приключения. Только он должен быть хорошим, не кипятиться и не транжирить денег.

— Ты слушайся меня, Джеймс. Хотя я старше тебя только на год, я гораздо лучше знаю жизнь... Да смотри же, пиши мне с каждой почтой! И молись перед сном каждый вечер, а я тоже буду молиться за тебя. И через несколько лет ты вернешься богатым и счастливым.

Джеймс слушал сестру угрюмо и молча. С тяжелым сердцем уезжал он из дому. Да и не только предстоящая разлука удручала его и заставляла сердито хмуриться. При всей своей неопытности юноша остро чувствовал, что Сибиле угрожает опасность. От этого светского щеголя, который вздумал за ней ухаживать, добра не жди! Он был аристократ — и Джеймс ненавидел его, ненавидел безотчетно, в силу какого-то классового инстинкта, ему самому непонятного и потому еще более властного. Притом Джеймс, зная легкомыслие и пустое тщеславие матери, чуял в этом грозную опасность для Сибилы и ее счастья. В детстве мы любим родителей. Став взрослыми, судим их. И бывает, что мы их прощаем.

Мать! Джеймсу давно хотелось задать ей один вопрос — вопрос, который мучил его вот уже много месяцев. Фраза, случайно услышанная в театре, глумливое шушуканье, донесшееся до него раз вечером, когда он ждал мать у входа за кулисы, подняли в голове Джеймса целую бурю мучительных догадок. Воспоминание об этом и сейчас ожгло его, как удар хлыста по лицу. Он сдвинул брови так, что между ними прорезалась глубокая морщина, и с гримасой боли судорожно прикусил нижнюю губу.

— Да ты совсем меня не слушаешь, Джим! — воскликнула вдруг Сибила. — А я-то стараюсь, строю для тебя такие чудесные планы на будущее. Ну, скажи же что-нибудь!

— Что мне сказать?

— Хотя бы, что ты будешь пай-мальчиком и не забудешь нас, — сказала Сибила с улыбкой. Джеймс пожал плечами.

— Скорее ты забудешь меня, чем я тебя, Сибила.

Сибила покраснела.

— Почему ты так думаешь, Джим?

— Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый. Кто он? Почему ты мне ничего о нем не рассказала? Это знакомство к добру не приведет.

— Перестань, Джим! Не смей дурно говорить о нем! Я его люблю.

— Господи, да тебе даже имя его неизвестно! — возразил Джеймс. Кто он такой? Я, кажется, имею право это знать.

— Его зовут Прекрасный Принц. Разве тебе не нравится это имя? Ты его запомни, глупый мальчик. Если бы ты увидел моего Принца, ты понял бы, что лучше его нет никого на свете. Вот вернешься из Австралии, и тогда я вас познакомлю. Он тебе очень понравится, Джим. Он всем нравится, а я... я люблю его. Как жаль, что ты сегодня вечером не сможешь быть в театре. Он обещал приехать. И я сегодня играю Джульетту. О, как я ее сыграю! Ты только представь себе, Джим, — играть Джульетту, когда сама влюблена и когда *он* сидит перед тобой. Играть для него! Я даже боюсь, что испугаю всех зрителей. Испугаю или приведу в восторг! Любовь возносит человека над самим собой... Этот бедный Урод, мистер Айзеке, опять будет кричать в баре своим собутыльникам, что я гений. Он верит в меня, а сегодня будет на меня молиться. И это сделал мой Прекрасный Принц, моя чудесная любовь, бог красоты! Я так жалка по сравнению с ним... Ну, так что же? Пословица говорит: нищета вползает через дверь, а любовь влетает в окно. Наши пословицы следовало бы переделать. Их придумывали зимой, а теперь лето... Нет, для меня теперь весна, настоящий праздник цветов под голубым небом.

— Он — знатный человек, — сказал Джеймс мрачно.

— Он — принц! — пропела Сибила. — Чего тебе еще?

— Он хочет сделать тебя своей рабой.

— А я дрожу при мысли о свободе.

— Остерегайся его, Сибила!

— Кто его увидел, боготворит его, а кто узнал — верит ему.

— Сибила, да он тебя совсем с ума свел!

Сибила рассмеялась и взяла брата под руку.

— Джим, милый мой, ты рассуждаешь, как столетний старик. Когда-нибудь сам влюбишься, тогда поймешь, что это такое. Ну, не дуйся же! Ты бы радоваться должен, что, уезжая, оставляешь меня такой счастливой. Нам с тобой тяжело жилось, ужасно тяжело и трудно. А теперь все пойдет по-другому. Ты едешь, чтобы увидеть новый мир, а мне он открылся здесь, в Лондоне... Вот два свободных места, давай сядем и будем смотреть на нарядную публику.

Они уселись среди толпы отдыхающих, которые глазели на прохожих. На клумбах у дорожки тюльпаны пылали дрожащими языками пламени. В воздухе висела белая пыль, словно зыбкое облако ароматной пудры. Огромными пестрыми бабочками порхали и качались над головами зонтики ярких цветов.

Сибила настойчиво расспрашивала брата, желая, чтобы он поделился с нею своими планами и надеждами. Джеймс отвечал медленно и неохотно. Они обменивались словами, как игроки обмениваются фишками. Сибилу угнетало то, что она не может заразить Джеймса своей радостью. Единственным откликом, который ей удалось вызвать, была легкая улыбка на его хмуром лице.

Вдруг перед ней промелькнули золотистые волосы, знакомые улыбающиеся губы: мимо в открытом экипаже проехал с двумя дамами Дориан Грей.

Сибила вскочила.

— Он!

— Кто? — спросил Джим.

— Прекрасный Принц! — ответила она, провожая глазами коляску.

Тут и Джим вскочил и крепко схватил ее за руку.

— Где? Который? Да покажи же! Я должен его увидеть! Но в эту минуту запряженный четверкой экипаж герцога Бервикского заслонил все впереди, а когда он проехал, коляска

Дориана была уже далеко.

— Уехал! — огорченно прошептала Сибила. — Как жаль, что ты его не видел!

— Да, жаль. Потому что, если он тебя обидит, клянусь богом, я отыщу и убью его.

Сибила в ужасе посмотрела на брата. А он еще раз повторил свои слова. Они просвистели в воздухе, как кинжал, и люди стали оглядываться на Джеймса. Стоявшая рядом дама захихикала.

— Пойдем отсюда, Джим, пойдем! — шепнула Сибила. Она стала пробираться через толпу, и Джим, повеселевший после того, как облегчил душу, пошел за нею.

Когда они дошли до статуи Ахилла, девушка обернулась. Она с сожалением посмотрела на брата и покачала головой, а на губах ее трепетал смех.

— Ты дурачок, Джим, настоящий дурачок и злой мальчишка — вот и все. Ну, можно ли говорить такие ужасные вещи! Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты попросту ревнуешь и потому несправедлив к нему. Ах, как бы я хотела, чтобы и ты полюбил кого-нибудь! Любовь делает человека добрее, а ты сказал злые слова!

— Мне уже шестнадцать лет, — возразил Джим. — И я знаю, что говорю. Мать тебе не опора. Она не сумеет уберечь тебя. Экая досада, что я уезжаю! Не подпиши я контракта, я послал бы к черту Австралию и остался бы с тобой.

— Полно, Джим! Ты точь-в-точь как герои тех дурацких мелодрам, в которых мама любила играть. Но я не хочу с тобой спорить. Ведь я только что видела его, а видеть его — это такое счастье! Не будем ссориться! Я уверена, что ты никогда не причинишь зла человеку, которого я люблю, — правда, Джим?

— Пока ты его любишь, пожалуй, — был угрюмый ответ.

— Я буду любить его вечно, — воскликнула Сибила.

— А он тебя?

— И он тоже.

— Ну, то-то. Пусть только попробует изменить!

Сибила невольно отшатнулась от брата. Но затем рассмеялась и положила ему руку на плечо. Ведь он в ее глазах был еще мальчик.

У Мраморной Арки они сели в омнибус, и он довез их до грязного, запущенного дома на Юстон-Род, где они жили. Был уже шестой час, а Сибиле полагалось перед спектаклем полежать час-другой. Джим настоял, чтобы она легла, объяснив, что он предпочитает проститься с нею в ее комнате, пока мать внизу. Мать непременно разыграла бы при прощании трагическую сцену, а он терпеть не может сцен.

И они простились в комнате Сибилы. В сердце юноши кипела ревность и бешеная ненависть к чужаку, который, как ему казалось, встал между ним и сестрой. Однако, когда Сибила обвила руками его шею и провела пальчиками по его волосам, Джим размяк и поцеловал ее с искренней нежностью. Когда он потом шел вниз по лестнице, глаза его были полны слез.

Внизу дожидалась мать. Она побранила его за опоздание. Джеймс ничего не ответил и принялся за скудный обед. Мухи жужжали над столом, ползали по грязной скатерти. Под грохот омнибусов и кебов Джеймс слушал монотонный голос, отравлявший ему последние оставшиеся минуты.

Скоро он отодвинул в сторону тарелку и подпер голову руками. Он твердил себе, что имеет право *знать*. Если правда то, что он подозревает, — мать давно должна была сказать ему об этом. Цепенея от страха, миссис Вэйн тайком наблюдала за ним. Слова механически слетали с ее губ, пальцы комкали грязный кружевной платочек. Когда часы пробили шесть, Джим встал и направился к двери. Но по дороге остановился и оглянулся на мать. Взгляды их встретились, и в глазах ее он прочел горячую мольбу о пощаде. Это только подлило масла в огонь.

— Мама, я хочу задать тебе один вопрос, — начал он. Мать молчала, ее глаза забегали по сторонам.

— Скажи мне правду, я имею право знать: ты была замужем за моим отцом?

У миссис Вэйн вырвался глубокий вздох. То был вздох облегчения. Страшная минута, которой она с такой тревогой ждала днем и ночью в течение многих месяцев, наконец наступила, — и вдруг ее страх исчез. Она даже была этим несколько разочарована. Грубая прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Решительная сцена без постепенной подготовки! Это было нескладно, напоминало плохую репетицию.

— Нет, — отвечала она, удивляясь про себя тому, что в жизни все так грубо и просто.

— Значит, он был подлец? — крикнул юноша, сжимая кулаки. Мать покачала головой.

— Нет. Я знала, что он не свободен. Но мы крепко любили друг друга. Если бы он не умер, он бы нас обеспечил. Не осуждай его, сынок. Он был твой отец и джентльмен. Да, да, он был знатного рода.

У Джеймса вырвалось проклятие.

— Мне-то все равно, — воскликнул он. — Но ты смотри, чтобы с Сибиллой не случилось того же! Ведь тот, кто в нее влюблен или притворяется влюбленным, тоже, наверное, «джентльмен знатного рода»?

На одно мгновение миссис Вэйн испытала унижительное чувство стыда. Голова ее поникла, она отерла глаза трясущимися руками.

— У Сибиллы есть мать, — прошептала она. А у меня ее не было.

Джеймс был тронут. Он подошел к матери и, наклонясь, поцеловал ее.

— Прости, мама, если я этими расспросами об отце сделал тебе больно, — сказал он. — Но я не мог удержаться. Ну, мне пора. Прощай! И помни: теперь тебе надо заботиться об одной только Сибиле. Можешь мне поверить, если этот человек обидит мою сестру, я узнаю, кто он, разыщу его и убью, как собаку. Клянусь!

Преувеличенная страстность угрозы и энергичные жесты, которыми сопровождалась эта мелодраматическая тирада, пришлись миссис Вэйн по душе, они словно окрашивали жизнь в более яркие краски. Сейчас она почувствовала себя в своей стихии и вздохнула свободнее. Впервые за долгое время она восхищалась сыном. Ей хотелось продлить эту волнующую сцену, но Джим круто оборвал разговор. Нужно было снести вниз чемоданы, разыскать запропавшийся куда-то теплый шарф. Слуга меблированных комнат, где они жили, сутился, то вбегая, то убегая. Потом пришлось торговаться с извозчиком... Момент был упущен, испорчен вульгарными мелочами. И миссис Вэйн с удвоенным чувством разочарования махала из окна грязным кружевным платочком вслед уезжавшему сыну. Какая прекрасная возможность упущена! Впрочем, она немного утешилась, объявив Сибиле, что теперь, когда на ее попечении осталась одна лишь дочь, в жизни ее образуется большая пустота. Эта фраза ей понравилась, и она решила запомнить ее. Об угрозе Джеймса она умолчала. Правда, высказана была эта угроза очень эффектно и драматично, но лучше было о ней не поминать. Миссис Вэйн надеялась, что когда-нибудь они все дружно посмеются над нею.

Глава VI

— Ты, верно, уже слышал новость, Бэзил? — такими словами лорд Генри встретил в этот вечер Холлуорда, вошедшего в указанный ему лакеем отдельный кабинет ресторана «Бристоль», где был сервирован обед на троих.

— Нет, Гарри. А что за новость? — спросил художник, отдавая пальто и шляпу почтительно ожидавшему лакею. — Надеюсь, не политическая? Политикой я не интересуюсь. В палате общин едва ли найдется хоть один человек, на которого художнику стоило бы расходовать краски. Правда, многие из них очень нуждаются в побелке.

— Дориан Грей собирается жениться, — сказал лорд Генри, внимательно глядя на Холлуорда.

Холлуорд вздрогнул и нахмурился.

— Дориан! Женится! — воскликнул он. — Не может быть!

— Однако это сущая правда.

— На ком же?
— На какой-то актриске.
— Что-то мне не верится. Дориан не так безрассуден.
— Дориан настолько умен, мой милый Бэзил, что не может время от времени не делать глупостей.

— Но брак не из тех «глупостей», которые делают «время от времени», Гарри!

— Так думают в Англии, но не в Америке, — лениво возразил лорд Генри. — Впрочем, я не говорил, что Дориан женится. Я сказал только, что он *собирается* жениться. Это далеко не одно и то же. Я, например, явно помню, что женился, но совершенно не припоминаю, чтобы я *собирался* это сделать. И склонен думать, что такого намерения у меня никогда не было.

— Да ты подумай, Гарри, из какой семьи Дориан, как он богат, какое положение занимает в обществе! Такой неравный брак просто-напросто безумие!

— Если хочешь, чтобы он женился на этой девушке, скажи ему то, что ты сейчас сказал мне, Бэзил! Тогда он наверняка женится на ней. Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благороднейших побуждений.

— Хоть бы это оказалась хорошая девушка! Очень печально, если Дориан навсегда будет связан с какой-нибудь дрянью и этот брак заставит его умственно и нравственно опуститься.

— Хорошая ли она девушка? Она — красавица, а это гораздо важнее, — бросил лорд Генри, потягивая из стакана вермут с померанцевой. — Дориан утверждает, что она красавица, а в этих вещах он редко ошибается. Портрет, который ты написал, научил его ценить красоту других людей. Да, да, и в этом отношении портрет весьма благотворно повлиял на него... Сегодня вечером мы с тобой увидим его избранницу, если только мальчик не забыл про наш уговор.

— Ты все это серьезно говоришь, Гарри?

— Совершенно серьезно, Бэзил. Не дай бог, чтобы мне пришлось говорить когда-нибудь еще серьезнее, чем сейчас.

— Но неужели ты одобряешь это, Гарри, — продолжал художник, шагая по комнате и кусая губы. — Не может быть! Это просто какое-то глупое увлечение.

— А я никогда ничего не одобряю и не порицаю, — это нелепейший подход к жизни. Мы посланы в сей мир не для того, чтобы проповедовать свои моральные предрассудки. Я не придаю никакого значения тому, что говорят пошляки, и никогда не вмешиваюсь в жизнь людей мне приятных. Если человек мне нравится, то все, в чем он себя проявляет, я нахожу прекрасным. Дориан Грей влюбился в красивую девушку, которая играет Джульетту, и хочет жениться на ней. Почему бы и нет? Женись он хотя бы на Мессалине — от этого он не станет менее интересен. Ты знаешь, я не сторонник брака. Главный вред брака в том, что он вытравливает из человека эгоизм. А люди неэгоистичные бесцветны, они утрачивают свою индивидуальность. Правда, есть люди, которых брачная жизнь делает сложнее. Сохраняя свое «я», они дополняют его множеством чужих «я». Такой человек вынужден жить более чем одной жизнью и становится личностью высокоорганизованной, а это, я полагаю, и есть цель нашего существования. Кроме того, всякое переживание ценно, и что бы ни говорили против брака, — это ведь, безусловно, какое-то новое переживание, новый опыт. Надеюсь, что Дориан женится на этой девушке, будет с полгода страстно обожать ее, а потом внезапно влюбится в другую. Тогда будет очень интересно понаблюдать его.

— Ты все это говоришь не всерьез, Гарри. Ведь, если жизнь Дориана будет разбита, ты больше всех будешь этим огорчен. Право, ты гораздо лучше, чем хочешь казаться.

Лорд Генри расхохотался.

— Все мы готовы верить в других по той простой причине, что боимся за себя. В основе оптимизма лежит чистейший страх. Мы приписываем нашим ближним те добродетели, из которых можем извлечь выгоду для себя, и воображаем, что делаем это из великодушия. Хвалим банкира, потому что хочется верить, что он увеличит нам кредит в

своем банке, и находим хорошие черты даже у разбойника с большой дороги, в надежде что он пощадит наши карманы. Поверь, Бэзил, все, что я говорю, я говорю вполне серьезно. Больше всего на свете я презираю оптимизм... Ты боишься, что жизнь Дориана будет разбита, а, по-моему, разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своем развитии. Исправлять и переделывать человеческую натуру — значит, только портить ее. Ну а что касается женитьбы Дориана... Конечно, это глупость. Но есть иные, более интересные формы близости между мужчиной и женщиной. И я неизменно поощряю их... А вот и сам Дориан! От него ты узнаешь больше, чем от меня.

— Гарри, Бэзил, дорогие мои, можете меня поздравить! — сказал Дориан, сбросив подбитый шелком плащ и пожимая руки друзьям. — Никогда еще я не был так счастлив. Разумеется, все это довольно неожиданно, как неожиданны все чудеса в жизни. Но, мне кажется, я всегда искал и ждал именно этого.

Он порозовел от волнения и радости и был в эту минуту удивительно красив.

— Желаю вам большого счастья на всю жизнь, Дориан, — сказал Холлуорд. — А почему же вы не сообщили мне о своей помолвке? Это непростительно. Ведь Гарри вы известили.

— А еще непростительнее то, что вы опоздали к обеду, — вмешался лорд Генри, с улыбкой положив руку на плечо Дориана. — Ну, давайте сядем за стол и посмотрим, каков новый здешний шеф-повар. И потом вы нам расскажете все по порядку.

— Да тут и рассказывать почти нечего, — отозвался Дориан, когда они уселись за небольшой круглый стол. — Вот как все вышло: вчера вечером, уйдя от вас, Гарри, я переоделся, пообедал в том итальянском ресторанчике на Руперт-стрит, куда вы меня водили, а в восемь часов отправился в театр. Сибила играла Розалинду. Декорации были, конечно, ужасные, Орlando просто смешон. Но Сибила! Ах, если бы вы ее видели! В костюме мальчика она просто загляденье. На ней была зеленая бархатная куртка с рукавами цвета корицы, коричневые короткие штаны, плотно обтягивавшие ноги, изящная зеленая шапочка с соколиным пером, прикрепленным блестящей пряжкой, и плащ с капюшоном на темно-красной подкладке. Никогда еще она не казалась мне такой прелестной! Своей хрупкой грацией она напоминала танагрскую статуэтку, которую я видел у вас в студии, Бэзил. Волосы обрамляли ее личико, как темные листья — бледную розу. А ее игра... ну, да вы сами сегодня увидите. Она просто рождена для сцены. Я сидел в убогой ложе совершенно очарованный. Забыл, что я в Лондоне, что у нас теперь девятнадцатый век. Я был с моей возлюбленной далеко, в дремучем лесу, где не ступала нога человека... После спектакля я пошел за кулисы и говорил с нею.

— Да, Дориан, мне кажется, вы правы, — с расстановкой отозвался Холлуорд.

— А сегодня вы с ней виделись? — спросил лорд Генри. Дориан Грей покачал головой.

— Я оставил ее в Арденнских лесах — и встречу снова в одном из садов Вероны.

Лорд Генри в задумчивости отхлебнул глоток шампанского.

— А когда же именно вы заговорили с нею о браке, Дориан? И что она ответила? Или вы уже не помните?

— Дорогой мой, я не делал ей официального предложения, потому что для меня это был не деловой разговор. Я сказал, что люблю ее, а она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна! Господи, да для меня весь мир — ничто в сравнении с ней!

— Женщины в высшей степени практичный народ, — пробормотал Генри. — Они много практичнее нас. Мужчина в такие моменты частенько забывает поговорить о браке, а женщина всегда напомнит ему об этом...

Холлуорд жестом остановил его.

— Перестань, Гарри, ты обижаешь Дориана. Он не такой, как другие, он слишком благороден, чтобы сделать женщину несчастной. Лорд Генри посмотрел через стол на Дориана.

— Дориан на меня никогда не сердится, — возразил он. — Я задал ему этот вопрос из самого лучшего побуждения, единственного, которое оправдывает какие бы то ни было

вопросы: из простого любопытства. Хотел проверить свое наблюдение, что обычно не мужчина женщине, а она ему делает предложение. Только в буржуазных кругах бывает иначе. Но буржуазия ведь отстала от века.

Дориан Грей рассмеялся и покачал головой.

— Вы неисправимы, Гарри, но сердиться на вас невозможно. Когда увидите Сибилу Вэйн, вы поймете, что обидеть ее способен только негодяй, человек без сердца. Я не понимаю, как можно позорить ту, кого любишь. Я люблю Сибилу — и хотел бы поставить ее на золотой пьедестал, видеть весь мир у ног моей любимой. Что такое брак? Нерушимый обет. Вам это смешно? Не смейтесь, Гарри! Именно такой обет хочу я дать. Доверие Сибилы обязывает меня быть честным, ее вера в меня делает меня лучше! Когда Сибилла со мной, я стыжусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня, и становлюсь совсем другим. Да, при одном прикосновении ее руки я забываю вас и ваши увлекательные, но отравляющие и неверные теории.

— Какие именно? — спросил лорд Генри, принимаясь за салат.

— Ну, о жизни, о любви, о наслаждении... Вообще все ваши теории, Гарри.

— Единственное, что стоит возвести в теорию, это наслаждение, — медленно произнес лорд Генри своим мелодичным голосом. — Но, к сожалению, теорию наслаждения я не вправе приписывать себе. Автор ее не я, а Природа. Наслаждение — тот пробный камень, которым она испытывает человека, и знак ее благословения. Когда человек счастлив, он всегда хорош. Но не всегда хорошие люди бывают счастливы.

— А кого ты называешь хорошим? — воскликнул Бэзил Холлуорд.

— Да, — подхватил и Дориан, откинувшись на спинку стула и глядя на лорда Генри поверх пышного букета пурпурных ирисов, стоявшего посреди стола. — Кто, по-вашему, хорош, Гарри?

— Быть хорошим — значит, жить в согласии с самим собой, — пояснил лорд Генри, обхватив ножку бокала тонкими белыми пальцами. — А кто принужден жить в согласии с другими, тот бывает в разладе с самим собой. *Своя* жизнь — вот что самое главное. Филистеры или пуритане могут, если им угодно, навязывать другим свои нравственные правила, но я утверждаю, что вмешиваться в жизнь наших ближних — вовсе не наше дело. Притом у индивидуализма, несомненно, более высокие цели. Современная мораль требует от нас, чтобы мы разделяли общепринятые понятия своей эпохи. Я же полагаю, что культурному человеку покорно принимать мерилу своего времени ни в коем случае не следует, — это грубейшая форма безнравственности.

— Но согласись, Гарри, жизнь только для себя покупается слишком дорогой ценой, — заметил художник.

— Да, в нынешние времена за все приходится платить слишком дорого. Пожалуй, трагедия бедняков — в том, что только самоотречение им по средствам. Красивые грехи, как и красивые вещи, — привилегия богатых.

— За жизнь для себя расплачиваешься не деньгами, а другим.

— Чем же еще, Бэзил?

— Ну, мне кажется, угрызениями совести, страданиями... сознанием своего морального падения. Лорд Генри пожал плечами.

— Милый мой, средневековое искусство великолепно, но средневековые чувства и представления устарели. Конечно, для литературы они годятся, — но ведь для романа вообще годится только то, что в жизни уже вышло из употребления. Поверь, культурный человек никогда не раскаивается в том, что предавался наслаждениям, а человек некультурный не знает, что такое наслаждение.

— Я теперь знаю, что такое наслаждение, — воскликнул Дориан Грей. — Это — обожать кого-нибудь.

— Конечно, лучше обожать, чем быть предметом обожания, — отозвался лорд Генри, выбирая себе фрукты. — Терпеть чье-то обожание — это скучно и тягостно. Женщины относятся к нам, мужчинам, так же, как человечество — к своим богам: они нам

поклоняются — и надоедают, постоянно требуя чего-то.

— По-моему, они требуют лишь того, что первые дарят нам, — сказал Дориан тихо и серьезно. — Они пробуждают в нас Любовь и вправе ждать ее от нас.

— Вот это совершенно верно, Дориан! — воскликнул Холлуорд.

— Есть ли что абсолютно верное на свете? — возразил лорд Генри.

— Да, есть, Гарри, — сказал Дориан Грей. — Вы же не станете отрицать, что женщины отдают мужчинам самое драгоценное в жизни.

— Возможно, — согласился лорд Генри со вздохом. — Но они неизменно требуют его обратно — и все самой мелкой монетой. В том-то и горе! Как сказал один остроумный француз, женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить.

— Гарри, вы несносный циник. Право, не понимаю, за что я вас так люблю!. — Вы всегда будете меня любить, Дориан... Кофе хотите, друзья?.. Принесите нам кофе, коньяк и папиросы... Впрочем, папирос не нужно: у меня есть. Бэзил, я не дам тебе курить сигары, возьми папиросу! Папиросы — это совершеннейший вид высшего наслаждения, тонкого и острого, но оставляющего нас неудовлетворенными. Чего еще желать?.. Да, Дориан, вы всегда будете любить меня. В ваших глазах я — воплощение всех грехов, которые у вас не хватает смелости совершить.

— Вздор вы говорите, Гарри! — воскликнул молодой человек, зажигая папиросу от серебряного огнедышащего дракона, которого лакей поставил на стол. — Едемте-ка лучше в театр. Когда вы увидите Сибилу на сцене, жизнь представится вам совсем иной. Она откроет вам нечто такое, чего вы не знали до сих пор.

— Я все изведal и узнал, — возразил лорд Генри, и глаза его приняли усталое выражение. — Я всегда рад новым впечатлениям, боюсь, однако, что мне уже их ждать нечего. Впрочем, быть может, ваша чудо-девушка и расшевелит меня. Я люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни. Едем! Дориан, вы со мной. Мне очень жаль, Бэзил, что в моем кабриолете могут поместиться только двое. Вам придется ехать за нами в кебе.

Они встали из-за стола и, надев пальто, допили кофе стоя. Художник был молчалив и рассеян, им овладело уныние. Не по душе ему был этот брак, хотя он понимал, что с Дорианом могло случиться многое похуже.

Через несколько минут все трое сошли вниз. Как было решено, Холлуорд ехал один за экипажем лорда Генри. Глядя на мерцавшие впереди фонари, он испытывал новое чувство утраты. Он понимал, что никогда больше Дориан Грей не будет для него тем, чем был. Жизнь встала между ними...

Глаза Холлуорда затуманились, и ярко освещенные людные улицы расплывались перед ним мутными пятнами. К тому времени, когда кеб подкатил к театру, художнику уже казалось, что он сегодня постарел на много лет.

Глава VII

В этот вечер театр почему-то был полон, и толстый директор, встретивший Дориана и его друзей у входа, сиял и ухмылялся до ушей приторной, заискивающей улыбкой. Он проводил их в ложу весьма торжественно и подобострастно, жестикулируя пухлыми руками в перстнях и разглагольствуя во весь голос. Дориан наблюдал за ним с еще большим отвращением, чем всегда, испытывая чувства влюбленного, который пришел за Мирандой, а наткнулся на Калибана. Зато лорду Генри еврей, видимо, понравился. Так он, во всяком случае, объявил и непременно захотел пожать ему руку, уверив его, что гордится знакомством с человеком, который открыл подлинный талант и разорился из-за любви к поэту. Холлуорд рассматривал публику партера. Жара стояла удушающая, и большая люстра пылала, как гигантский георгин с огненными лепестками. На галерке молодые люди, сняв пиджаки и жилеты, развесили их на барьере. Они переговаривались через весь зал и угощали апельсинами безвкусно разодетых девиц, сидевших с ними рядом. В партере громко хохотали какие-то женщины. Их визгливые голоса резали слух. Из буфета доносилось

щелканье пробок.

— И в таком месте вы нашли свое божество! — сказал лорд Генри.

— Да, — отозвался Дориан Грей. — Здесь я нашел ее, богиню среди простых смертных. Когда она играет, забываешь все на свете. Это неотесанное простонародье, люди с грубыми лицами и вульгарными манерами, совершенно преображаются, когда она на сцене. Они сидят, затаив дыхание, и смотрят на нее. Они плачут и смеются по ее воле. Она делает их чуткими, как скрипка, она их одухотворяет, и тогда я чувствую — это люди из той же плоти и крови, что и я.

— Из той же плоти и крови? Ну, надеюсь, что нет! — воскликнул лорд Генри, разглядывавший в бинокль публику на галерке.

— Не слушайте его, Дориан, — сказал художник. — Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в эту девушку. Если вы ее полюбили, значит, она хороша. И, конечно, девушка, которая так влияет на людей, обладает душой прекрасной и возвышенной. Облагораживать свое поколение — это немалая заслуга. Если ваша избранница способна вдохнуть душу в тех, кто до сих пор существовал без души, если она будит любовь к прекрасному в людях, чья жизнь грязна и безобразна, заставляет их отрешиться от эгоизма и проливать слезы сострадания к чужому горю, — она достойна вашей любви, и мир должен преклоняться перед ней. Хорошо, что вы женитесь на ней. Я раньше был другого мнения, но теперь вижу, что это хорошо. Сибилу Вэйн боги создали для вас. Без нее жизнь ваша была бы неполна.

— Спасибо, Бэзил, — сказал Дориан Грей, пожимая ему руку. — Я знал, что вы меня поймете. А Гарри просто в ужас меня приводит своим цинизмом... Ага, вот и оркестр! Он прескверный, но играет только каких-нибудь пять минут. Потом поднимется занавес, и вы увидите ту, которой я отдам всю жизнь, которой я уже отдал лучшее, что есть во мне.

Через четверть часа на сцену под гром рукоплесканий вышла Сибилла Вэйн. Ею и в самом деле можно было залюбоваться, и даже лорд Генри сказал себе, что никогда еще не видывал девушки очаровательнее. В ее застенчивой грации и робком выражении глаз было что-то, напоминавшее молодую лань. Когда она увидела переполнявшую зал восторженную толпу, на щеках ее вспыхнул легкий румянец, как тень розы в серебряном зеркале. Она отступила на несколько шагов, и губы ее дрогнули. Бэзил Холлуорд вскочил и стал аплодировать. Дориан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с нее глаз. А лорд Генри все смотрел в бинокль и бормотал: «Прелесть! Прелесть!»

Сцена представляла зал в доме Капулетти. Вошел Ромео в одежде монаха, с ним Меркуцио и еще несколько приятелей. Снова заиграл скверный оркестр, и начались танцы. В толпе неуклюжих и убого одетых актеров Сибилла Вэйн казалась существом из другого, высшего мира. Когда она танцевала, стан ее покачивался, как тростник над водой. Шея изгибом напоминала белоснежную лилию, а руки были словно выточены из слоновой кости.

Однако она оставалась до странности безучастной. Лицо ее не выразило никакой радости, когда она увидела Ромео. И первые слова Джульетты:

Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке: лишь благочестье в ней.
Есть руки у святых: их может, верно,
Коснуться пилигрим рукой своей,

— как и последовавшие за ними реплики во время короткого диалога, прозвучали фальшиво. Голос был дивный, но интонации совершенно неверные. И этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженное в них чувство — неискренним.

Дориан Грей смотрел, слушал — и лицо его становилось все бледнее. Он был поражен, встревожен. Ни лорд Генри, ни Холлуорд не решались заговорить с ним. Сибилла Вэйн казалась им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы.

Понимая, однако, что подлинный пробный камень для всякой актрисы, играющей Джульетту, — это сцена на балконе во втором акте, они выжидали. Если Сибиле и эта сцена

не удастся, значит, у нее нет даже искры таланта.

Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете, — этого нельзя было отрицать. Но игра ее была нестерпимо театральна — и чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости, произносила она все с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог:

Мое лицо под маской ночи скрыто,
Но все оно пылает от стыда
За то, что ты подслушал нынче ночью,

— она произнесла с неуклюжей старательностью ученицы, обученной каким-нибудь второразрядным учителем декламации. А когда, наклонясь через перила балкона, дошла до следующих дивных строк:

Нет, не клянись. Хоть радость ты моя,
Но сговор наш ночной мне не на радость.
Он слишком скор, внезапен, необдуман,
Как молния, что исчезает раньше,
Чем скажем мы: «Вот молния!» О милый,
Спокойной ночи! Пусть росток любви
В дыханье теплом лета расцветет
Цветком прекрасным в миг, когда мы снова
Увидимся...

— она проговорила их так механически, словно смысл их не дошел до нее. Этого нельзя было объяснить нервным волнением. Напротив, Сибила, казалось, вполне владела собой. Это была попросту очень плохая игра. Видимо, актриса была совершенно бездарна.

Даже некультурная публика задних рядов и галерки утратила всякий интерес к тому, что происходило на сцене. Все зашумели, заговорили громко, слышались даже свистки. Еврей-антрепренер, стоявший за скамьями балкона, топал ногами и яростно бранился. И только девушка на сцене оставалась ко всему безучастна.

Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и надел пальто.

— Она очень красива, Дориан, — сказал он. — Но играть не умеет. Пойдемте!

— Нет, я досижу до конца, — возразил Дориан резко и с горечью. — Мне очень совестно, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих.

— Дорогой мой, мисс Вэйн, наверное, сегодня нездорова, — перебил его Холлуорд. — Мы придем как-нибудь в другой раз.

— Хотел бы я думать, что она больна, — возразил Дориан. — Но вижу, что она просто холодна и бездушна. Она совершенно изменилась. Вчера еще она была великой артисткой. А сегодня — только самая заурядная средняя актриса.

— Не надо так говорить о любимой женщине, Дориан. Любовь выше искусства.

— И любовь и искусство — только формы подражания, — сказал лорд Генри. — Ну, пойдемте, Бэзил. И вам, Дориан, тоже не советую здесь оставаться. Смотреть плохую игру вредно для души... Наконец, вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена оставалась актрисой, — так не все ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Она очень мила. И если в жизни она понимает так же мало, как в искусстве, то более близкое знакомство с ней доставит вам много удовольствия. Только два сорта людей по-настоящему интересны — те, кто знает о жизни все решительно, и те, кто ничего о ней не знает... Ради бога, дорогой мой мальчик, не принимайте этого так трагично! Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать волнений, от которых дурнееешь. Поедемте-ка со мной и Бэзилом в клуб! Мы будем курить и пить за Сибилу Вэйн. Она красавица. Чего вам еще?

— Уходите, Гарри, — крикнул Дориан. — Я хочу побыть один. Бэзил, и вы уходите. Неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается на части?

К глазам его подступили горячие слезы, губы дрожали. Отойдя в глубь ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо руками.

— Пойдем, Бэзил, — промолвил лорд Генри с неожиданной для него теплотой. И оба вышли из ложи.

Через несколько минут снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся, и началось третье действие. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен, и на лице его застыло выражение высокомерного равнодушия. Спектакль продолжался; казалось, ему не будет конца. Зал наполовину опустел, люди уходили, стуча тяжелыми башмаками и пересмеиваясь. Провал был полный.

Последнее действие шло почти при пустом зале. Наконец занавес опустился под хихиканье и громкий ропот.

Как только окончился спектакль, Дориан Грей помчался за кулисы. Сибилла стояла одна в своей уборной. Лицо ее светилось торжеством, глаза ярко блестели, от нее словно исходило сияние. Полуоткрытые губы улыбались какой-то одной ей ведомой тайне.

Когда вошел Дориан Грей, она посмотрела на него с невыразимой радостью и воскликнула:

— Как скверно я сегодня играла, Дориан!

— Ужасно! — подтвердил он, глядя на нее в полном недоумении. — Отвратительно! Вы не больны? Вы и представить себе не можете, как это было ужасно и как я страдал!

Девушка все улыбалась.

— Дориан. — Она произнесла его имя певуче и протяжно, упиваясь им, словно оно было слаще меда для алых лепестков ее губ. — Дориан, как же вы не поняли? Но сейчас вы уже понимаете, да?

— Что тут понимать? — спросил он с раздражением.

— Да то, *почему* я так плохо играла сегодня... И всегда буду плохо играть. Никогда больше не смогу играть так, как прежде.

Дориан пожал плечами.

— Вы, должно быть, заболели. Вам не следовало играть, если вы нездоровы. Ведь вы становитесь посмешищем. Моим друзьям было нестерпимо скучно. Да и мне тоже.

Сибилла, казалось, не слушала его. Она была в каком-то экстазе счастья, совершенно преобразившем ее.

— Дориан, Дориан! — воскликнула она. — Пока я вас не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это — моя настоящая жизнь. Один вечер я была Розалиндой, другой — Порцией. Радость Беатриче была моей радостью, и страдания Корделии — моими страданиями. Я верила всему. Те жалкие актеры, что играли со мной, казались мне божественными, размалеванные кулисы составляли мой мир. Я жила среди призраков и считала их живыми людьми. Но ты пришел, любимый, и освободил мою душу из плена. Ты показал мне настоящую жизнь. И сегодня у меня словно открылись глаза. Я увидела всю мишурность, фальшь и нелепость той бутафории, которая меня окружает на сцене. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео стар, безобразен, накрашен, что лунный свет в саду не настоящий и сад этот — не сад, а убогие декорации. И слова, которые я произносила, были не настоящие, не *мои* слова, не то, что *мне* хотелось бы говорить. Благодаря тебе я узнала то, что выше искусства. Я узнала любовь настоящую. Искусство — только ее бледное отражение. О радость моя, мой Прекрасный Принц! Мне надоело жить среди теней. Ты мне дороже, чем все искусство мира. Что мне эти марионетки, которые окружают меня на сцене? Когда я сегодня пришла в театр, я просто удивилась: все сразу стало мне таким чужим! Думала, что буду играть чудесно, — а оказалось, что ничего у меня не выходит. И вдруг я душой поняла, *отчего* это так, и мне стало радостно. Я слышала в зале шиканье — и только улыбалась. Что они знают о такой любви, как наша? Возьми меня отсюда, Дориан, уведи меня туда, где мы будем совсем одни. Я теперь ненавижу театр. Я могла изображать на сцене

любовь, которой не знала, по не могу делать это теперь, когда любовь сжигает меня, как огонь. Ах, Дориан, Дориан, ты меня понимаешь? Ведь мне сейчас играть влюбленную — это профанация! Благодаря тебе я теперь это знаю.

Дориан порывистым движением отвернулся от Сибилы и сел на диван.

— Вы убили мою любовь, — пробормотал он, не поднимая глаз.

Сибилла удивленно посмотрела на него и рассмеялась. Дориан молчал. Она подошла к нему и легко, одними пальчиками коснулась его волос. Потом стала на колени и прильнула губами к его рукам. Но Дориан вздрогнул, отдернул руки. Потом, вскочив с дивана, шагнул к двери.

— Да, да, — крикнул он, — вы убили мою любовь! Раньше вы волновали мое воображение, — теперь вы не вызываете во мне никакого интереса. Вы мне просто безразличны. Я вас полюбил, потому что вы играли чудесно, потому что я видел в вас талант, потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов, облакали в живую, реальную форму бесплотные образы искусства. А теперь все это кончено. Вы оказались только пустой и ограниченной женщиной. Боже, как я был глуп!.. Каким безумием была моя любовь к вам! Сейчас вы для меня ничто. Я не хочу вас больше видеть. Я никогда и не вспомню о вас, имени вашего не произнесу. Если бы вы могли понять, *чем* вы были для меня... О господи, да я... Нет, об этом и думать больно. Лучше бы я вас никогда не знал! Вы испортили самое прекрасное в моей жизни. Как мало вы знаете о любви, если можете говорить, что она убила в вас артистку! Да ведь без вашего искусства вы — ничто! Я хотел сделать вас великой, знаменитой. Весь мир преклонился бы перед вами, и вы носили бы мое имя. А что вы теперь? Третьеразрядная актриса с хорошеньким личиком.

Сибилла побледнела и вся дрожала. Сжав руки, она прошептала с трудом, словно слова застревали у нее в горле:

— Вы ведь не серьезно это говорите, Дориан? Вы словно играете.

— Играю? Нет, играть я предоставляю вам, — вы это делаете так хорошо! — едко возразил Дориан.

Девушка поднялась с колен и подошла к нему. С трогательным выражением душевной муки она положила ему руку на плечо и заглянула в глаза. Но Дориан оттолкнул ее и крикнул:

— Не трогайте меня!

У Сибилы вырвался глухой стон, и она упала к его ногам. Как затоптанный цветок, лежала она на полу.

— Дориан, Дориан, не покидайте меня! — шептала она с мольбой. — Я так жалею, что плохо играла сегодня. Это оттого, что я все время думала о вас. Я попробую опять... Да, да, я постараюсь... Любовь пришла так неожиданно. Я, наверное, этого и не знала бы, если бы вы меня не поцеловали... если бы мы не поцеловались тогда... Поцелуй меня еще раз, любимый! Не уходи, я этого не переживу... Не бросай меня! Мой брат... Нет, нет, он этого не думал, он просто пошутил... Ох, неужели ты не можешь меня простить? Я буду работать изо всех сил и постараюсь играть лучше. Не будь ко мне жесток, я люблю тебя больше всего на свете. Ведь я только раз не угодила тебе. Ты, конечно, прав, Дориан, — мне не следовало забывать, что я артистка... Это было глупо, но я ничего не могла с собой поделать. Не покидай меня, Дориан, не уходи!..

Захлебываясь бурными слезами, она корчилась на полу, как раненое животное, а Дориан Грей смотрел на нее сверху с усмешкой высокомерного презрения на красиво очерченных губах. В страданиях тех, кого разлюбили, всегда есть что-то смешное. И слова и слезы Сибилы казались Дориану нелепо-мелодраматичными и только раздражали его.

— Ну, я уйду, — сказал он наконец спокойно и громко. — Не хотел бы я быть бессердечным, но я не могу больше встречаться с вами. Вы меня разочаровали.

Сибилла тихо плакала и ничего не отвечала, но подползла ближе. Она, как слепая, протянула вперед руки, словно ища его. Но он отвернулся и вышел. Через несколько минут он был уже на улице.

Он шел, едва сознавая, куда идет. Смутно вспоминалось ему потом, что он бродил по каким-то плохо освещенным улицам мимо домов зловещего вида, под высокими арками, где царила черная тьма. Женщины с резким смехом хриплыми голосами зазывали его. Шатаясь, брели пьяные, похожие на больших обезьян, бормоча что-то про себя или грубо ругаясь. Дориан видел жалких, заморенных детей, прикорнувших на порогах домов, слышал пронзительные крики и брань, доносившиеся из мрачных дворов.

На рассвете он очутился вблизи Ковент-Гардена. Мрак рассеялся, и пронизанное бледными огнями небо сияло над землей, как чудесная жемчужина. По словно отполированным мостовым еще безлюдных улиц медленно громыхали большие телеги, полные лилий, покачивавшихся на длинных стеблях. Воздух был напоен ароматом этих цветов. Прелесть их утоляла душевную муку Дориана. Шагая за возами, он забрел на рынок. Стоял и смотрел, как их разгружали. Один возчик в белом балахоне предложил ему вишен. Дориан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь про себя тому, что возчик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света. Мимо Дориана прошли длинной вереницей мальчики с корзинами полосатых тюльпанов и желтых и красных роз, прокладывая себе дорогу между высокими грудями нежно-зеленых овощей. Под портиком, между серыми, залитыми солнцем колоннами, слонялись простоволосые и обтрепанные девицы. Другая группа их теснилась у дверей кафе на Пьяцце. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались на неровной мостовой, дребезжали сбруей и колокольцами. Некоторые возчики спали на мешках. Розовоногие голуби с радужными шейками сустились вокруг, клюя рассыпанное зерно.

Наконец Дориан кликнул извозчика и поехал домой. Минуту-другую он постоял в дверях, озирая тихую площадь, окна домов, наглухо закрытые ставнями или пестрыми шторами. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне крыши блестели, как серебро. Из трубы соседнего дома поднималась тонкая струя дыма и лиловой лентой вилась в перламутровом воздухе.

В большом золоченом венецианском фонаре, некогда похищенном, вероятно, с гондолы какого-нибудь дожа и висевшем теперь на потолке в просторном холле с дубовыми панелями, еще горели три газовых рожка, мерцая узкими голубыми лепестками в обрамлении белого огня. Дориан погасил их и, бросив на столик шляпу и плащ, прошел через библиотеку к двери в спальню, большую восьмиугольную комнату в первом этаже, которую он, в своем новом увлечении роскошью, недавно отделал заново и увешал стены редкими гобеленами времен Ренессанса, найденными на чердаке его дома в Селби. В ту минуту, когда он уже взялся за ручку двери, взгляд его упал на портрет, написанный Бэзиллом Холлуордом. Дориан вздрогнул и отступил, словно чем-то пораженный, затем вошел в спальню. Однако, вынув бутоньерку из петлицы, он остановился в нерешительности — что-то его, видимо, смущало. В конце концов он вернулся в библиотеку и, подойдя к своему портрету, долго всматривался в него. При слабом свете, затененном желтыми шелковыми шторами, лицо на портрете показалось ему изменившимся. Выражение было какое-то другое, — в складке рта чувствовалась жестокость. Как странно!

Отвернувшись от портрета, Дориан подошел к окну и раздвинул шторы. Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, прятавшиеся по сумрачным углам. Однако в лице портрета по-прежнему заметна была какая-то странная перемена, она даже стала явственнее. В скользивших по полотну ярких лучах солнца складка жестокости у рта видна была так отчетливо, словно Дориан смотрелся в зеркало после какого-то совершенного им преступления.

Он вздрогнул и, торопливо взяв со стола овальное ручное зеркало в украшенной купидонами рамке слоновой кости (один из многочисленных подарков лорда Генри), погляделся в него.

Нет, его алые губы не безобразила такая складка, как на портрете. Что же это могло значить?

Дориан протер глаза и, подойдя к портрету вплотную, снова стал внимательно

рассматривать его. Краска, несомненно, была нетронута, никаких следов подрисовки. А между тем выражение лица явно изменилось. Нет, это ему не почудилось — страшная перемена бросалась в глаза.

Сев в кресло, Дориан усиленно размышлял. И вдруг в его памяти всплыли слова, сказанные им в мастерской Бэзила Холлуорда в тот день, когда портрет был окончен. Да, он их отлично помнил. Он тогда высказал безумное желание, чтобы портрет старел вместо него, а он оставался вечно молодым, чтобы его красота не поблекла, а печать страстей и пороков ложилась на лицо портрета. Да, он хотел, чтобы следы страданий и тяжких дум бороздили лишь его изображение на полотне, а сам он сохранил весь нежный цвет и прелесть своей, тогда еще впервые осознанной, юности. Неужели его желание исполнилось? Нет, таких чудес не бывает! Страшно даже и думать об этом. А между тем — вот перед ним его портрет со складкой жестокости у губ.

Жестокость? Разве он поступил жестоко? Виноват во всем не он, виновата Сибилла. Он воображал ее великой артисткой и за это полюбил. А она его разочаровала. Она оказалась ничтожеством, недостойным его любви. Однако сейчас он с безграничной жалостью вспомнил ту минуту, когда она лежала у его ног и плакала, как ребенок, вспомнил, с каким черствым равнодушием смотрел тогда на нее. Зачем он так создан, зачем ему дана такая душа?..

Однако разве и он не страдал? За те ужасные три часа, пока шел спектакль, он пережил столетия терзаний, вечность мук. Его жизнь, уж во всяком случае, равноценна ее жизни. Пусть он ранил Сибиллу навек — но и она на время омрачила его жизнь. Притом женщины переносят горе легче, чем мужчины, так уж они созданы! Они живут одними чувствами, только ими и заняты. Они и любовников заводят лишь для того, чтобы было кому устраивать сцены. Так говорит лорд Генри, а лорд Генри знает женщин.

К чему же тревожить себя мыслями о Сибилле Вэйн? Ведь она больше для него не существует.

Ну а портрет? Как тут быть? Портрет хранит тайну его жизни и может всем ее поведать. Портрет научил его любить собственную красоту, — неужели тот же портрет заставит его возненавидеть собственную душу? Как ему и смотреть теперь на это полотно?

Нет, нет, все это только обман чувств, вызванный душевным смятением. Он пережил ужасную ночь — вот ему и мерещится что-то. В мозгу его появилось то багровое пятнышко, которое делает человека безумным. Портрет ничуть не изменился, и воображать это — просто сумасшествие.

Но человек на портрете смотрел на него с жестокой усмешкой, портившей прекрасное лицо. Золотистые волосы сияли в лучах утреннего солнца, голубые глаза встречались с глазами живого Дориана. Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дориана — жалости не к себе, а к своему портрету. Человек на полотне уже изменился и будет меняться все больше! Потускнеет золото кудрей и сменится сединой. Увянут белые и алые розы юного лица. Каждый грех, совершенный им, Дорианом, будет ложиться пятном на портрет, портя его красоту...

Нет, нет, он не станет больше грешить! Будет ли портрет меняться или нет, — все равно этот портрет станет как бы его совестью. Надо отныне бороться с искушениями. И больше не встречаться с лордом Генри — или, по крайней мере, не слушать его опасных, как тонкий яд, речей, которые когда-то в саду Бэзила Холлуорда впервые пробудили в нем, Дориане, жажду невозможного.

И Дориан решил вернуться к Сибилле Вэйн, загладить свою вину. Он женится на Сибилле и постарается снова полюбить ее. Да, это его долг. Она, наверное, сильно страдала, больше, чем он. Бедняжка! Он поступил с ней, как бессердечный эгоист. Любовь вернется, они будут счастливы. Жизнь его с Сибиллой будет чиста и прекрасна.

Он встал с кресла и, с содроганием взглянув последний раз на портрет, заслонил его высоким экраном.

— Какой ужас! — пробормотал он про себя и, подойдя к окну, распахнул его.

Он вышел в сад, на лужайку, и жадно вдохнул всей грудью свежий утренний воздух. Казалось, ясное утро рассеяло все темные страсти, и Дориан думал теперь только о Сибиле. В сердце своем он слышал слабый отзвук прежней любви. Он без конца твердил имя возлюбленной. И птицы, заливавшиеся в росистом саду, как будто рассказывали о ней цветам.

Глава VIII

Когда Дориан проснулся, было далеко за полдень. Его слуга уже несколько раз на цыпочках входил в спальню — посмотреть, не зашевелился ли молодой хозяин, и удивлялся тому, что он сегодня спит так долго. Наконец из спальни раздался звонок, и Виктор, бесшумно ступая, вошел туда с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого севрского фарфора. Он раздвинул зеленые шелковые портьеры на блестящей синей подкладке, закрывавшие три высоких окна.

— Вы сегодня хорошо выспались, мосье, — сказал он с улыбкой.

— А который час, Виктор? — сонно спросил Дориан.

— Четверть второго, мосье.

— Ого, как поздно! — Дориан сел в постели и, попивая чай, стал разбирать письма. Одно было от лорда Генри, его принес посыльный сегодня утром. После минутного колебания Дориан отложил его в сторону и бегло просмотрел остальные письма. Это были, как всегда, приглашения на обеды, билеты на закрытые вернисажи, программы благотворительных концертов и так далее — обычная корреспонденция, которой засыпают светского молодого человека в разгаре сезона. Был здесь и счет на довольно крупную сумму — за туалетный прибор чеканного серебра в стиле Людовика Пятнадцатого (счет этот Дориан не решился послать своим опекунам, людям старого закала, крайне отсталым, которые не понимали, что в наш век только бесполезные вещи и необходимы человеку), было и несколько писем от ростовщиков с Джермин-стрит, в весьма учтивых выражениях предлагавших ссудить какую угодно сумму по первому требованию и за самые умеренные проценты.

Минут через десять Дориан встал и, накинув элегантный кашемировый халат, расшитый шелком, прошел в облицованную ониксом ванную комнату. После долгого сна холодная вода очень освежила его. Он, казалось, уже забыл обо всем, пережитом вчера. Только раз-другой мелькнуло воспоминание, что он был участником какой-то необычайной драмы, но вспоминалось это смутно, как сон.

Одевшись, он прошел в библиотеку и сел за круглый столик у раскрытого окна, где для него был приготовлен легкий завтрак на французский манер. День стоял чудесный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, кружила над стоявшей перед Дорианом синей китайской вазой с желтыми розами. И Дориан чувствовал себя совершенно счастливым.

Но вдруг взгляд его остановился на экране, которым он накануне заслониł портрет, — и он вздрогнул.

— Мосье холодно? — спросил лакей, подававший ему в эту минуту омлет. — Не закрыть ли окно? Дориан покачал головой.

— Нет, мне не холодно.

Так неужели же все это было на самом деле? И портрет действительно изменился? Или это игра расстроенного воображения, и ему просто показалось, что злобное выражение сменило радостную улыбку на лице портрета? Ведь не могут же меняться краски на полотне! Какой вздор! Надо будет как-нибудь рассказать Бэзилу — это его изрядно позабавит!

Однако как живо помнится все! Сначала в полумраке, потом в ярком свете утра он увидел ее, эту черту жестокости, искривившую рот. И сейчас он чуть не со страхом ждал той минуты, когда лакей уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, не выдержит, непременно примется снова рассматривать портрет. И боялся узнать правду.

Когда лакей, подав кофе и папиросы, шагнул к двери, Дориану страстно захотелось остановить его. И не успела еще дверь захлопнуться, как он вернул Виктора. Лакей стоял, ожидая приказаний. Дориан с минуту смотрел на него молча.

— Кто бы ни пришел, меня нет дома, Виктор, — сказал он наконец со вздохом. Лакей поклонился и вышел.

Тогда Дориан встал из-за стола, закурил папиросу и растянулся на кушетке против экрана, скрывавшего портрет. Экран был старинный, из позолоченной испанской кожи с тисненым, пестро раскрашенным узором в стиле Людовика Четырнадцатого. Дориан пристально всматривался в него, спрашивая себя, доводилось ли этому экрану когда-нибудь прежде скрывать тайну человеческой жизни.

Что же — отодвинуть его? А не лучше ли оставить на месте? Зачем узнавать? Будет ужасно, если все окажется правдой. А если нет, — так незачем и беспокоиться.

Ну а если по роковой случайности чей-либо посторонний глаз заглянет за этот экран и увидит страшную перемену? Как быть, если Бэзил Холлуорд придет и захочет взглянуть на свою работу? А Бэзил непременно захочет... Нет, портрет во что бы то ни стало надо рассмотреть еще раз — и немедленно. Нет ничего тягостнее мучительной неизвестности.

Дориан встал и запер на ключ обе двери. Он хотел, по крайней мере, быть один, когда увидит свой позор! Он отодвинул в сторону экран и стоял теперь лицом к лицу с самим собой.

Да, сомнений быть не могло: портрет изменился.

Позднее Дориан часто и всякий раз с немалым удивлением — вспоминал, что в первые минуты он смотрел на портрет с почти объективным интересом. Казалось невероятным, что такая перемена может произойти, — а между тем она была налицо. Неужели же есть какое-то непостижимое сродство между его душой и химическими атомами, образующими на полотне формы и краски? Возможно ли, что эти атомы отражают на полотне все движения души, делают ее сны явью? Или тут кроется иная, еще более страшная причина?

Задражав при этой мысли, Дориан отошел и снова лег на кушетку. Отсюда он с ужасом, не отрываясь, смотрел на портрет.

Утешало его только сознание, что кое-чему портрет уже научил его. Он помог ему понять, как несправедлив, как жесток он был к Сибиле Вэйн. Исправить это еще не поздно. Сибилла станет его женой. Его эгоистичная и, быть может, надуманная любовь под ее влиянием преобразится в чувство более благородное, и портрет, написанный Бэзиллом, всегда будет указывать ему путь в жизни, руководить им, как одними руководит добродетель, другими — совесть и всеми людьми — страх перед богом. В жизни существуют наркотики против угрызений совести, средства, усыпляющие нравственное чутье. Но здесь перед его глазами — видимый символ разложения, наглядные последствия греха. И всегда будет перед ним это доказательство, что человек способен погубить собственную душу.

Пробило три часа, четыре. Прошло еще полчаса, а Дориан не двигался с места. Он пытался собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, где он блуждал. Он не знал, что думать, что делать. Наконец он подошел к столу и стал писать пылкое письмо любимой девушке, в котором молил о прощении и называл себя безумцем. Страницу за страницей исписывал он словами страстного раскаяния и еще более страстной муки. В самобичевании есть своего рода сладострастие. И когда мы сами себя виним, мы чувствуем, что никто другой не вправе более винить нас. Отпущение грехов дает нам не священник, а сама исповедь. Написав это письмо Сибиле, Дориан уже чувствовал себя прощенным.

Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри.

— Дориан, мне необходимо вас увидеть. Впустите меня сейчас же! Что это вы вздумали запирайтесь?

Дориан сначала не отвечал и не трогался с места. Но стук повторился, еще громче и настойчивее. Он решил, что, пожалуй, лучше впустить лорда Генри. Надо объяснить ему, что он, Дориан, отныне начнет новую жизнь. Он не остановится и перед ссорой с Гарри или даже

перед окончательным разрывом, если это окажется неизбежным.

Он вскочил, поспешно закрыл портрет экраном и только после этого отпер дверь.

— Ужасно все это неприятно, Дориан, — сказал лорд Генри, как только вошел. — Но вы старайтесь поменьше думать о том, что случилось.

— Вы хотите сказать — о Сибиле Вэйн? — спросил Дориан.

— Да, конечно. Лорд Генри сел и стал медленно снимать желтые перчатки. — Вообще говоря, это ужасно, но вы не виноваты. Скажите... вы после спектакля ходили к ней за кулисы? — Да.

— Я так и думал. И вы поссорились?

— Я был жесток, Гарри, бесчеловечно жесток! Но сейчас все уже в порядке. Я не жалею о том, что произошло, — это помогло мне лучше узнать самого себя.

— Я очень, очень рад, Дориан, что вы так отнеслись к этому. Я боялся, что вы терзаетесь угрызениями совести и в отчаянии рвете на себе свои золотые кудри.

— Через все это я уже прошел, — отозвался Дориан, с улыбкой тряхнув головой. — И сейчас я совершенно счастлив. Во-первых, я понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы говорили, Гарри. Она — самое божественное в нас. И вы не смейтесь больше над этим — по крайней мере, при мне. Я хочу быть человеком с чистой совестью. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой.

— Какая прекрасная эстетическая основа нравственности, Дориан! Поздравляю вас. А с чего же вы намерены начать?

— С женитьбы на Сибиле Вэйн.

— На Сибиле Вэйн! — воскликнул лорд Генри, вставая и в величайшем удивлении и замешательстве глядя на Дориана. — Дорогой мой, но она...

— Ах, Гарри, знаю, что вы хотите сказать: какую-нибудь гадость о браке. Не надо! Никогда больше не говорите мне таких вещей. Два дня тому назад я просил Сибилу быть моей женой. И я своего слова не нарушу. Она будет моей женой.

— Вашей женой? Дориан! Да разве вы не получили моего письма? Я его написал сегодня утром, и мой слуга отнес его вам.

— Письмо? Ах да... Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-нибудь такое, что мне будет не по душе. Вы своими эпиграммами кромсаете жизнь на куски.

— Так вы ничего еще не знаете?

— О чем?

Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дорианом, крепко сжал его руки в своих.

— Дориан, в письме я... не пугайтесь... я вам сообщал, что Сибил Вэйн... умерла.

Горестный крик вырвался у Дориана. Он вскочил и высвободил руки из рук лорда Генри.

— Умерла! Сибил умерла! Неправда! Это ужасная ложь! Как вы смеете лгать мне!

— Это правда, Дориан, — сказал лорд Генри серьезно. — Об этом сообщают сегодня все газеты. Я вам писал, чтобы вы до моего прихода никого не принимали. Наверное, будет следствие, и надо постараться, чтобы вы не были замешаны в этой истории. В Париже подобные истории создают человеку известность, но в Лондоне у людей еще так много предрассудков. Здесь никак не следует начинать свою карьеру со скандала. Скандалы берегут на старость, когда бывает нужно подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто вы такой? Если нет, тогда все в порядке. Видел кто-нибудь, как вы входили в уборную Сибилы? Это очень важно.

Дориан некоторое время не отвечал — он обомлел от ужаса. Наконец пробормотал, запинаясь, сдавленным голосом:

— Вы сказали — следствие? Что это значит? Разве Сибил... Ох, Гарри, я этого не вынесу!... Отвечайте скорее! Скажите мне все!

— Не приходится сомневаться, Дориан, что это не просто несчастный случай, но надо, чтобы публика так думала. А рассказывают вот что: когда девушка в тот вечер уходила с

матерью из театра — кажется, около половины первого, она вдруг сказала, что забыла что-то наверху. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов ее нашли мертвой на полу в уборной. Она по ошибке проглотила какое-то ядовитое снадобье, которое употребляют в театре для гримировки. Не помню, что именно, но в него входит не то синильная кислота, не то свинцовые белила. Вернее всего, синильная кислота, так как смерть наступила мгновенно.

— Боже, боже, какой ужас! — простонал Дориан.

— Да... Это поистине трагедия, но нельзя, чтобы вы оказались в нее замешанным... Я читал в «Стандарде», что Сибиле Вэйн было семнадцать лет. А на вид ей можно было дать еще меньше. Она казалась совсем девочкой, притом играла еще так неумело. Дориан, не принимайте этого близко к сердцу! Непременно поезжайте со мной обедать, а потом мы с вами заглянем в оперу. Сегодня поет Патти, и весь свет будет в театре. Мы зайдем в ложу моей сестры. Сегодня с нею придут несколько эффектных женщин.

— Значит, я убил Сибилу Вэйн, — сказал Дориан Грей словно про себя. — Все равно что перерезал ей ножом горло. И, несмотря на это, розы все так же прекрасны, птицы все так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с вами и поеду в оперу, потом куда-нибудь ужинать... Как необычайна и трагична жизнь! Прочти я все это в книге, Гарри, я, верно, заплакал бы. А сейчас, когда это случилось на самом деле и случилось со мной, я так потрясен, что и слез нет. Вот лежит написанное мною страстное любовное письмо, первое в жизни любовное письмо. Не странно ли, что это первое письмо я писал мертвой? Хотел бы я знать, чувствуют они что-нибудь, эти безмолвные, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибилла!.. Знает ли она все, может ли меня слышать, чувствовать что-нибудь? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то! Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Потом наступил этот страшный вечер — неужели он был только вчера? — когда она играла так скверно, что у меня сердце чуть не разорвалось. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно... но меня ничуть не тронуло, и я назвал ее глупой. Потом случилось кое-что... не могу вам рассказать что, но это было страшно. И я решил вернуться к Сибиле. Я понял, что поступил дурно... А теперь она умерла... Боже, боже! Гарри, что мне делать? Вы не знаете, в какой я опасности! И теперь некому удержать меня от падения. *Она* могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично!

— Милый Дориан, — отозвался лорд Генри, доставая папиросу из портсигара. — Женщина может сделать мужчину праведником только одним способом: надоесть ему так, что он утратит всякий интерес к жизни. Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы несчастны. Разумеется, вы обращались бы с ней хорошо, — это всегда легко, если человек тебе безразличен. Но она скоро поняла бы, что вы ее больше не любите. А когда женщина почувствует, что ее муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно или у нее появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже об унижительности такого неравного брака, который я постарался бы не допустить, — я вас уверяю, что при всех обстоятельствах ваш брак с этой девушкой был бы крайне неудачен.

— Пожалуй, вы правы, — пробормотал Дориан. Он был мертвенно-бледен и беспокойно шагнул из угла в угол. — Но я считал, что обязан жениться. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок: они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной.

— Благие намерения — попросту бесплодные попытки идти против природы. Порождены они бывают всегда чистейшим самомнением, и ничего ровно из этих попыток не выходит. Они только дают нам иногда блаженные, но пустые ощущения, которые тешат людей слабых. Вот и все. Благие намерения — это чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет текущего счета.

— Гарри, — воскликнул Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом Генри. —

Почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете?

— Назвать вас человеком без сердца никак нельзя после всех безумств, которые вы натворили за последние две недели, — ответил лорд Генри, ласково и меланхолически улыбаясь.

Дориан нахмурил брови.

— Мне не нравится такое объяснение, Гарри. Но я рад, что вы меня не считаете бесчувственным. Я не такой, знаю, что не такой! И все же — то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Оно для меня — как бы необычайная развязка какой-то удивительной пьесы. В нем — жуткая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я сыграл видную роль, но которая не ранила моей души.

— Это любопытное обстоятельство, — сказал лорд Генри. Ему доставляло острое наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши. — Да, очень любопытное. И, думаю, объяснить это можно вот как: частенько подлинные трагедии в жизни принимают такую неэстетическую форму, что оскорбляют нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. Они нам претят, как все вульгарное. Мы чуем в них одну лишь грубую животную силу и восстаем против нее. Но случается, что мы в жизни наталкиваемся на драму, в которой есть элементы художественной красоты. Если красота эта — подлинная, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже более не действующие лица, а только зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и самая необычайность такого зрелища нас увлекает. Что, в сущности, произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к вам. Жалею, что в моей жизни не было ничего подобного. Я тогда поверил бы в любовь и вечно преклонялся бы перед нею. Но все, кто любил меня, — таких было не очень много, но они были, — упорно жили и здравствовали еще много лет после того, как я разлюбил их, а они — меня. Эти женщины растолстели, стали скучны и несносны. Когда мы встречаемся, они сразу же ударяются в воспоминания. Ах, эта ужасающая женская память, что за наказание! И какую косность, какой душевный застой она обличает! Человек должен вбирать в себя краски жизни, но никогда не помнить деталей. Детали всегда банальны.

— Придется посеять маки в моем саду, — со вздохом промолвил Дориан.

— В этом нет необходимости, — возразил его собеседник. — У жизни маки для нас всегда наготове. Правда, порой мы долго не можем забыть. Я когда-то в течение целого сезона носил в петлице только фиалки — это было нечто вроде траура по любви, которая не хотела умирать. Но в конце концов она умерла. Не помню, что ее убило. Вероятно, обещание любимой женщины пожертвовать для меня всем на свете. Это всегда страшная минута: она внушает человеку страх перед вечностью. Так вот, можете себе представить, — на прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшайр моей соседкой за столом оказалась эта самая дама, и она во что бы то ни стало хотела начать все сначала, раскопать прошлое и расчистить дорогу будущему. Я похоронил этот роман в могиле под асфоделями, а она снова вытащила его на свет божий и уверяла меня, что я разбил ей жизнь. Должен констатировать, что за обедом она уписывала все с чудовищным аппетитом, так что я за нее ничуть не тревожусь. Но какова бестактность! Какое отсутствие вкуса! Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно — прошлое. А женщины никогда не замечают, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт! Они желают продолжать спектакль, когда всякий интерес к нему уже пропал. Если бы дать им волю, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия перешла бы в фарс. Женщины в жизни — прекрасные актрисы, но у них нет никакого артистического чутья. Вы оказались счастливее меня, Дориан. Клянусь вам, ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибила Вэйн. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни — тем, что носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщине, которая, не считаясь со своим возрастом,

носит платья цвета mauve¹¹ или в тридцать пять лет питает пристрастие к розовым лентам: это, несомненно, женщина с прошлым. Другие неожиданно открывают всякие достоинства в своих законных мужьях — и это служит им великим утешением. Они выставляют напоказ свое супружеское счастье, как будто оно — самый соблазнительный адюльтер. Некоторые ищут утешения в религии. Таинства религии имеют для них всю прелесть флирта — так мне когда-то сказала одна женщина, и я этому охотно верю. Кроме того, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутация грешницы. Совесть делает всех нас эгоистами... Да, да, счету нет утешениям, которые находят себе женщины в наше время. А я не упомянул еще о самом главном...

— О чем, Гарри? — спросил Дориан рассеянно.

— Ну, как же! Самое верное утешение — отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В высшем свете это всегда реабилитирует женщину. Подумайте, Дориан, как непохожа была Сибила Вэйн на тех женщин, каких мы встречаем в жизни! В ее смерти есть что-то удивительно прекрасное. Я рад, что живу в эпоху, когда бывают такие чудеса. Они вселяют в нас веру в существование настоящей любви, страсти, романтических чувств, над которыми мы привыкли только подсмеиваться.

— Я был страшно жесток с ней. Это вы забываете.

— Пожалуй, жестокость, откровенная жестокость женщинам милее всего: в них удивительно сильны первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, ищущими себе господина. Они любят покоряться... Я уверен, что вы были великолепны. Никогда не видел вас в сильном гневе, но представляю себе, как вы были интересны! И, наконец, позавчера вы мне сказали одну вещь... тогда я подумал, что это просто ваша фантазия, а сейчас вижу, что вы были абсолютно правы, и этим все объясняется.

— Что я сказал, Гарри?

— Что в Сибиле Вэйн вы видите всех романтических героинь. Один вечер она — Дездемона, другой — Офелия, и, умирая Джульеттой, воскресает в образе Иможены.

— Теперь она уже не воскреснет, — прошептал Дориан, закрывая лицо руками.

— Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но пусть ее одинокая смерть в жалкой театральной уборной представляется вам как бы необычайным и мрачным отрывком из какой-нибудь трагедии семнадцатого века или сценой из Уэбстера, Форда или Сирила Турнера. Эта девушка, в сущности, не жила и, значит, не умерла. Для вас, во всяком случае, она была только грезой, видением, промелькнувшим в пьесах Шекспира и сделавшим их еще прекраснее, она была свирелью, придававшей музыке Шекспира еще больше очарования и жизнерадостности. При первом же столкновении с действительной жизнью она была ранена и ушла из мира. Оплакивайте же Офелию, если хотите. Посыпайте голову пеплом, горя о задушенной Корделии. Кляните небеса за то, что погибла дочь Брабанцио. Но не лейте напрасно слез о Сибиле Вэйн. Она была еще менее реальна, чем они все.

Наступило молчание. Вечерний сумрак окутал комнату. Бесшумно вползли из сада среброногие тени. Медленно выцветали все краски.

Немного погодя Дориан Грей поднял глаза.

— Вы мне помогли понять себя, Гарри, — сказал он тихо, со вздохом, в котором чувствовалось облегчение. — Мне и самому так казалось, но меня это как-то пугало, и я не все умел себе объяснить. Как хорошо вы меня знаете! Но не будем больше говорить о случившемся. Это было удивительное переживание — вот и все. Не знаю, суждено ли мне в жизни испытать еще что-нибудь столь же необыкновенное.

— У вас все впереди, Дориан. При такой красоте для вас нет ничего невозможного.

— А если я стану изможденным, старым, сморщенным? Что тогда?

— Ну, тогда, — лорд Генри встал, собираясь уходить. — Тогда, мой милый, вам

¹¹ Розовато-лиловый (франц.).

придется бороться за каждую победу, а сейчас они сами плывут к вам в руки. Нет, нет, вы должны беречь свою красоту. Она нам нужна. В наш век люди слишком много читают, это мешает им быть мудрыми, и слишком много думают, а это мешает им быть красивыми. Ну, однако, вам пора одеваться и ехать в клуб. Мы и так уже опаздываем.

— Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я так устал, что мне не хочется есть. Какой номер ложи вашей сестры?

— Кажется, двадцать семь. Она в бельэтаже, и на дверях вы прочтете фамилию сестры. Но очень жаль, Дориан, что вы не хотите со мной пообедать.

— Право, я не в силах, — сказал Дориан устало. — Я вам очень, очень признателен, Гарри, за все, что вы сказали. Знаю, что у меня нет друга вернее. Никто не понимает меня так, как вы.

— И это еще только начало нашей дружбы, — подхватил лорд Генри, пожимая ему руку. — До свиданья. Надеюсь увидеть вас не позднее половины десятого. Помните — поет Патти.

Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил, и через несколько минут появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан с нетерпением дожидался его ухода. Ему казалось, что слуга сегодня бесконечно долго копаются.

Как только Виктор ушел, Дориан Грей подбежал к экрану и отодвинул его. Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибилы Вэйн дошла до него раньше, чем узнал о ней он, Дориан. Этот портрет узнавал о событиях его жизни, как только они происходили. И злобная жестокость исказила красивый рот в тот самый миг, когда девушка выпила яд. Или, может быть, на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя: а что, если в один прекрасный день портрет изменится у него на глазах? Он и желал этого, и содрогался при одной мысли об этом.

Бедная Сибил! Как все это романтично! Она часто изображала смерть на сцене, и вот Смерть пришла и унесла ее. Как сыграла Сибил! эту последнюю страшную сцену? Проклинала его, умирая? Нет, она умерла от любви к нему, и отныне Любовь будет всегда для него святыней. Сибил!а, отдав жизнь, все этим искупила. Он не станет больше вспоминать, сколько он из-за нее выстрадал в тот ужасный вечер в театре. Она останется в его памяти как дивный трагический образ, посланный на великую арену жизни, чтобы явить миру высшую сущность Любви. Дивный трагический образ? При воспоминании о детском личике Сибил!ы, об ее пленительной живости и застенчивой грации Дориан почувствовал на глазах слезы. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет.

Он говорил себе, что настало время сделать выбор. Или выбор уже сделан? Да, сама жизнь решила за него — жизнь и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, неутолимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумие счастья и еще более исступленное безумие греха — все будет ему дано, все он должен изведать! А портрет пусть несет бремя его позора — вот и все.

На миг он ощутил боль в сердце при мысли, что прекрасное лицо на портрете будет обезображено. Как-то раз он, дурашливо подражая Нарциссу, поцеловал — вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые сейчас так зло усмехались ему. Каждое утро он подолгу простаивал перед портретом, любуясь им. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. И неужели же теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддастся, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет чудовищно безобразным и его придется прятать под замок, вдали от солнца, которое так часто золотило его чудесные кудри? Как жаль! Как жаль!

Одну минуту Дориану Грею хотелось помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Перемена в портрете возникла потому, что он когда-то пожелал этого, — так, быть может, после новой молитвы портрет перестанет меняться?

Но... Разве человек, хоть немного узнавший жизнь, откажется от возможности остаться

вечно молодым, как бы ни была эфемерна эта возможность и какими бы роковыми последствиями она ни грозила? Притом — разве это действительно в его власти? Разве и в самом деле его мольба вызвала такую перемену? Не объясняется ли эта перемена какими-то неведомыми законами науки? Если мысль способна влиять на живой организм, так, быть может, она оказывает действие и на мертвые, неодушевленные предметы? Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами, и атом — стремиться к атому под влиянием какого-то таинственного тяготения или удивительного сродства?.. Впрочем, не все ли равно, какова причина?

Никогда больше он не станет призывать на помощь какие-то страшные, неведомые силы. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Зачем так глубоко в это вдумываться?

Ведь наблюдать этот процесс будет истинным наслаждением! Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на волнующе-прекрасной грани весны и лета. Когда с лица на портрете сойдут краски и оно станет мертвенной меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять весь блеск юности. Да, цвет его красоты не увянет, пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что станет с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно.

Дориан Грей, улыбаясь, поставил экран на прежнее место перед портретом, и пошел в спальню, где его ждал камердинер. Через час он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, облокотясь на его кресло.

Глава IX

На другое утро, когда Дориан сидел за завтраком, пришел Бэзил Холлуорд.

— Очень рад, что застал вас, Дориан, — сказал он серьезным тоном. — Я заходил вчера вечером, но мне сказали, что вы в опере. Разумеется, я не поверил и жалел, что не знаю, где вы находитесь. Я весь вечер ужасно тревожился и, признаться, даже боялся, как бы за одним несчастьем не последовало второе. Вам надо было вызвать меня телеграммой, как только вы узнали... Я прочел об этом случайно в вечернем выпуске «Глоба», который попался мне под руку в клубе... Тотчас поспешил к вам, да, к моему великому огорчению, не застал вас дома. И сказать вам не могу, до чего меня потрясло это несчастье! Понимаю, как вам тяжело... А где же вы вчера были? Вероятно, ездили к ее матери? В первую минуту я хотел поехать туда вслед за вами — адрес я узнал из газеты. Это, помнится, где-то на Юстон-Род? Но я побоялся, что буду там лишний, — чем можно облегчить такое горе? Несчастливая мать! Воображаю, в каком она состоянии! Ведь это ее единственная дочь? Что она говорила?

— Мой милый Бэзил, откуда мне знать? — процедил Дориан Грей с недовольным и скучающим видом, потягивая желтоватое вино из красивого, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. — Я был в опере. Напрасно и вы туда не приехали. Я познакомился вчера с сестрой Гарри, леди Гвендолен, мы сидели у нее в ложе. Обворожительная женщина! И Патти пела божественно. Не будем говорить о неприятном. О чем не говоришь, того как будто и не было. Вот и Гарри всегда твердит, что только слова придают реальность явлениям. Ну а что касается матери Сибилы... Она не одна, у нее есть еще сын, и, кажется, славный малый. Но он не актер. Он моряк или что-то в этом роде. Ну, расскажите-ка лучше о себе. Что вы сейчас пишете?

— Вы... были... в опере? — с расстановкой переспросил Бэзил, и в его изменившемся голосе слышалось глубокое огорчение. — Вы поехали в оперу в то время, как Сибила Вэйн

лежала мертвая в какой-то грязной каморке? Вы можете говорить о красоте других женщин и о божественном пении Патти, когда девушка, которую вы любили, еще даже не обрела покой в могиле? Эх, Дориан, вы бы хоть подумали о тех ужасах, через которые еще предстоит пройти ее бедному маленькому телу!

— Перестаньте, Бэзил! Я не хочу ничего слушать! — крикнул Дориан и вскочил. — Не говорите больше об этом. Что было, то было. Что прошло, то уже прошлое.

— Вчерашний день для вас уже прошлое?

— При чем тут время? Только людям ограниченным нужны годы, чтобы отделаться от какого-нибудь чувства или впечатления. А человек, умеющий собой владеть, способен покончить с печалью так же легко, как найти новую радость. Я не желаю быть рабом своих переживаний. Я хочу ими насладиться, извлечь из них все, что можно. Хочу властвовать над своими чувствами.

— Дориан, это ужасно! Что-то сделало вас совершенно другим человеком. На вид вы все тот же славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда вы были простодушны, непосредственны и добры, вы были самый неиспорченный юноша на свете. А сейчас... Не понимаю, что на вас нашло! Вы рассуждаете, как человек без сердца, не знающий жалости. Все это — влияние Гарри. Теперь мне ясно...

Дориан покраснел и, отойдя к окну, с минуту смотрел на зыбкое море зелени в облитом солнцем саду.

— Я обязан Гарри многим, — сказал он наконец. — Больше, чем вам, Бэзил. Вы только разбудили во мне тщеславие.

— Что же, я за это уже наказан, Дориан... или буду когда-нибудь наказан.

— Не понимаю я ваших слов, Бэзил, — воскликнул Дориан, обернувшись. — И не знаю, чего вы от меня хотите. Ну, скажите, что вам нужно?

— Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал, — с грустью ответил художник.

— Бэзил, — Дориан подошел и положил ему руку на плечо, — вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибила покончила с собой...

— Покончила с собой! Господи помилуй! Неужели? — ахнул Холлуорд, в ужасе глядя на Дориана.

— А вы думали, мой друг, что это просто несчастный случай? Конечно, нет! Она лишила себя жизни.

Художник закрыл лицо руками.

— Это страшно! — прошептал он, вздрогнув.

— Нет, — возразил Дориан Грей. — Ничего в этом нет страшного. Это — одна из великих романтических трагедий нашего времени. Обыкновенные актеры, как правило, ведут жизнь самую банальную. Все они — примерные мужья или примерные жены, — словом, скучные люди. Понимаете — мещанская добродетель и все такое. Как непохожа на них была Сибила! Она пережила величайшую трагедию. Она всегда оставалась героиней. В последний вечер, тот вечер, когда вы видели ее на сцене, она играла плохо оттого, что узнала любовь настоящую. А когда мечта оказалась несбыточной, она умерла, как умерла некогда Джульетта. Она снова перешла из жизни в сферы искусства. Ее окружает ореол мученичества. Да, в ее смерти — весь пафос напрасного мученичества, вся его бесполезная красота... Однако не думайте, Бэзил, что я не страдал. Вчера был такой момент... Если бы вы пришли около половины шестого... или без четверти шесть, вы застали бы меня в слезах. Даже Гарри — он-то и принес мне эту весть — не подозревает, что я пережил. Я страдал ужасно. А потом это прошло. Не могу я то же чувство переживать снова. И никто не может, кроме очень сентиментальных людей. Вы ужасно несправедливы ко мне, Бэзил. Вы пришли меня утешать, это очень мило с вашей стороны. Но застали меня уже утешившимся — и злитесь. Вот оно, людское сочувствие! Я вспоминаю анекдот, рассказанный Гарри, про одного филантропа, который двадцать лет жизни потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом — я забыл уже, с чем именно. В конце концов он добился своего — и тут наступило жестокое разочарование. Ему больше

решительно нечего было делать, он умирал со скуки и превратился в убежденного мизантропа. Так-то, дорогой друг! Если вы действительно хотите меня утешить, научите, как забыть то, что случилось, или смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве? Помню, однажды у вас в мастерской мне попала под руку книжечка в веленовой обложке, и, листая ее, я наткнулся на это замечательное выражение: *consolation des arts*.¹² Право, я несколько не похож на того молодого человека, про которого вы мне рассказывали, когда мы вместе ездили к Марло. Он уверял, что желтый атлас может служить человеку утешением во всех жизненных невзгодах. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, пышность — все это доставляет столько удовольствия! Но для меня всего ценнее тот инстинкт художника, который они порождают или хотя бы выявляют в человеке. Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни — это значит уберечь себя от земных страданий. Знаю, вас удивят такие речи. Вы еще не уяснили себе, насколько я созрел. Когда мы познакомились, я был мальчик, сейчас я — мужчина. У меня появились новые увлечения, новые мысли и взгляды. Да, я стал другим, однако я не хочу, Бэзил, чтобы вы меня за это разлюбили. Я переменялся, но вы должны навсегда остаться моим другом. Конечно, я очень люблю Гарри. Но я знаю, что вы лучше его. Вы не такой сильный человек, как он, потому что слишком боитесь жизни, но вы лучше. И как нам бывало хорошо вместе! Не оставляйте же меня, Бэзил, и не спорьте со мной. Я таков, какой я есть, — ничего с этим не поделаешь.

Холлуорд был невольно тронут. Этот юноша был ему бесконечно дорог, и знакомство с ним стало как бы поворотным пунктом в его творчестве художника. У него не хватило духу снова упрекать Дориана, и он утешался мыслью, что черствость этого мальчика — лишь минутное настроение. Ведь у Дориана так много хороших черт, так много в нем благородства!

— Ну, хорошо, Дориан, — промолвил он наконец с грустной улыбкой. — Не стану больше говорить об этой страшной истории. И хочу надеяться, что ваше имя не будет связано с нею. Следствие назначено на сегодня. Вас не вызывали?

Дориан отрицательно покачал головой и досадливо поморщился при слове «следствие». Он находил, что во всех этих подробностях есть что-то грубое, пошлое.

— Моя фамилия там никому не известна, — пояснил он.

— Но девушка-то, наверное, ее знала?

— Нет, только имя. И потом я совершенно уверен, что она не называла его никому. Она мне рассказывала, что в театре все очень интересуются, кто я такой, но на их вопросы она отвечает только, что меня зовут Прекрасный Принц. Это очень трогательно, правда? Нарисуйте мне Сибилу, Бэзил. Мне хочется сохранить на память о ней нечто большее, чем воспоминания о нескольких поцелуях и нежных словах.

— Ладно, попробую, Дориан, если вам этого так хочется. Но вы и сами снова должны мне позировать. Я не могу обойтись без вас.

— Никогда больше я не буду вам позировать, Бэзил. Это невозможно! — почти крикнул Дориан, отступая. Художник удивленно посмотрел на него.

— Это еще что за фантазия, Дориан? Неужели вам не нравится портрет, который я написал? А кстати, где он? Зачем его заслонили экраном? Я хочу на него взглянуть. Ведь это моя лучшая работа. Уберите-ка ширму, Дориан. Какого черта ваш лакей вздумал запрятать портрет в угол? То-то я, как вошел, сразу почувствовал, что в комнате словно чего-то недостает.

— Мой лакей тут ни при чем, Бэзил. Неужели вы думаете, что я позволяю ему по своему вкусу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда выбирает для меня — и больше ничего. А экран перед портретом я сам поставил: в этом месте слишком резкое

¹² Утешение в искусстве (франц.).

освещение.

— Слишком резкое? Не может быть, мой милый. По-моему, самое подходящее. Дайте-ка взглянуть.

И Холлуорд направился в тот угол, где стоял портрет. Крик ужаса вырвался у Дориана. Одним скачком опередив Холлуорда, он стал между ним и экраном.

— Бэзил, — сказал он, страшно побледнев, — не смейте! Я не хочу, чтобы вы на него смотрели.

— Вы шутите! Мне запрещается смотреть на мое собственное произведение? Это еще почему? — воскликнул Холлуорд со смехом.

— Только попытайтесь, Бэзил, — и даю вам слово, что на всю жизнь перестану с вами встречаться. Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду, и вы меня ни о чем не спрашивайте. Но знайте — если вы только тронете экран, между нами все кончено.

Холлуорд стоял как громом пораженный и во все глаза смотрел на Дориана. Никогда еще он не видел его таким: лицо Дориана побелело от гнева, руки были сжаты в кулаки, зрачки метали синие молнии. Он весь дрожал.

— Дориан!

— Молчите, Бэзил!

— Господи, да что это с вами? Не хотите, так я, разумеется, не стану смотреть, — сказал художник довольно сухо и, круто повернувшись, отошел к окну. — Но это просто дико — запрещать мне смотреть на мою собственную картину! Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку, и, наверное, понадобится перед этим заново покрыть ее лаком. Значит, осмотреть ее я все равно должен, — так почему бы не сделать этого сейчас?

— На выставку? Вы хотите ее выставить? — переспросил Дориан Грей, чувствуя, как в душу его закрадывается безумный страх. Значит, все узнают его тайну? Люди будут с любопытством глазеть на самое сокровенное в его жизни? Немыслимо! Что-то надо тотчас же сделать, как-то это предотвратить. Но как?

— Да, в Париже. Надеюсь, против *этого* вы не станете возражать? — говорил между тем художник. — Жорж Пти намерен собрать все мои лучшие работы и устроить специальную выставку на улице Сэз. Откроется она в первых числах октября. Портрет увезут не более как на месяц. Думаю, что вы вполне можете на такое короткое время с ним расстаться. Как раз в эту пору вас тоже не будет в Лондоне. И потом — если вы держите его за ширмой, значит, не так уж дорожите им.

Дориан Грей провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели.

— Но всего лишь месяц назад вы говорили, что ни за что его не выставите! Почему же вы передумали? Вы из тех людей, которые гордятся своим постоянством, а на самом деле и у вас все зависит от настроения. Разница только та, что эти ваши настроения — просто необъяснимые прихоти. Вы торжественно уверяли меня, что ни за что на свете не пошлете мой портрет на выставку, — вы это, конечно, помните? И Гарри вы говорили то же самое.

Дориан вдруг умолк, и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри сказал ему раз полушутя: «Если хотите провести презанятные четверть часа, заставьте Бэзила объяснить вам, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он это рассказал, и для меня это было настоящим откровением». Ага, так, может быть, и у Бэзила есть своя тайна! Надо вывести ее.

— Бэзил, — начал он, подойдя к Холлуорду очень близко и глядя ему в глаза, — у каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Почему вы не хотели выставлять мой портрет?

Художник вздрогнул и невольно отступил.

— Дориан, если я вам это скажу, вы непременно посмеетесь надо мной и, пожалуй, будете меньше любить меня. А с этим я не мог бы примириться. Раз вы требуете, чтобы я не пытался больше увидеть ваш портрет, пусть будет так. Ведь у меня остается вы, — я смогу всегда видеть *вас*. Вы хотите скрыть от всех лучшее, что я создал в жизни? Ну что ж, я

согласен. Ваша дружба мне дороже славы.

— Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, Бэзил, — настаивал Дориан Грей. — Мне кажется, я имею право знать.

Страх его прошел и сменился любопытством. Он твердо решил узнать тайну Холлуорда.

— Сядемте, Дориан, — сказал тот, не умея скрыть своего волнения. И прежде всего ответьте мне на один вопрос. Вы не заметили в портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам?

— Ох, Бэзил! — вскрикнул Дориан, дрожащими руками сжимая подлокотники кресла и в диком испуге глядя на художника.

— Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить, Дориан, сначала выслушайте меня. С первой нашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом, были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витает перед художником как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь, — и я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым, только когда вы бывали со мной. И даже если вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении, когда я творил. Конечно, я никогда, ни единым словом не обмолвился об этом — ведь вы ничего не поняли бы. Да я и сам не очень-то понимал это. Я чувствовал только, что вижу перед собой совершенство, и оттого мир представлялся мне чудесным, — пожалуй, слишком чудесным, ибо такие восторги душе опасны. Не знаю, что страшнее — власть их над душой или их утрата. Проходили недели, а я был все так же или еще больше одержим вами. Наконец мне пришла в голову новая идея. Я уже ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника, со сверкающим копьём в руках. В венке из тяжелых цветов лотоса вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на мутные волны зеленого Нила. Вы склонялись над озером в одной из рощ Греции, любуясь чудом своей красоты в недвижном серебре его тихих вод. Эти образы создавались интуитивно, как того требует наше искусство, были идеальны, далеки от действительности. Но в один прекрасный день, — роковой день, как мне кажется иногда, — я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть, не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в современной обстановке. И вот... Не знаю, что сыграло тут роль, реалистическая манера письма или обаяние вашей индивидуальности, которая предстала передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная, — но, когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я боготворю вас, Дориан. Я чувствовал, что в этом портрете выразил слишком много, вложил в него слишком много себя. Вот тогда-то я и решил ни за что не выставлять его. Вам было досадно — ведь вы не подозревали, какие у меня на то серьезные причины. А Гарри, когда я заговорил с ним об этом, высмеял меня. Ну, да это меня ничуть не задело. Когда портрет был окончен, я, глядя на него, почувствовал, что я прав... А через несколько дней он был увезен из моей мастерской, и, как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это лишь моя фантазия, что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту и мой талант художника, больше ничего. Даже и сейчас мне кажется, что я заблуждался, что чувства художника не отражаются в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы думаем. Форма и краски говорят нам лишь о форме и красках — и больше ни о чем. Мне часто приходит в голову, что искусство в гораздо большей степени *скрывает* художника, чем *раскрывает* его...

Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки. Мог ли я думать, что вы станете возражать? Ну а теперь я вижу, что вы правы, портрет выставлять не следует. Не сердитесь на меня, Дориан. Перед вами нельзя не преклоняться — вы созданы для этого. Я так и сказал тогда Гарри.

Дориан Грей с облегчением перевел дух. Щеки его снова порозовели. Губы улыбались. Опасность миновала. Пока ему ничто не грозит! Он невольно испытывал глубокую жалость

к художнику, сделавшему ему такое странное признание, и спрашивал себя, способен ли и он когда-нибудь оказаться всецело во власти чужой души? К лорду Генри его влечет, как влечет человека все очень опасное, — и только. Лорд Генри слишком умен и слишком большой циник, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, Дориан, человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему в жизни испытать и это тоже?

— Очень мне странно, Дориан, что вы сумели увидеть это в портрете, — сказал Бэзил Холлуорд. — Вы и вправду это заметили?

— Кое-что я заметил. И оно меня сильно поразило.

— Ну а теперь вы мне дадите взглянуть на портрет?

Дориан покачал головой.

— Нет, нет, и не просите, Бэзил. Я не позволю вам даже подойти близко.

— Так, может, потом когда-нибудь?

— Никогда.

— Что ж, может, вы и правы. Ну, прощайте, Дориан. Вы — единственный человек, который по-настоящему имел влияние на мое творчество. И всем, что я создал ценного, я обязан вам... если бы вы знали, чего мне стоило сказать вам все то, что я сказал!

— Да что же вы мне сказали такого, дорогой Бэзил? Только то, что вы мною слишком восхищались? Право, это даже не комплимент.

— А я и не собирался говорить вам комплименты. Это была исповедь. И после нее я словно чего-то лишился. Пожалуй, никогда не следует выражать свои чувства словами.

— Исповедь ваша, Бэзил, обманула мои ожидания.

— Как так? Чего же вы ожидали, Дориан? Разве вы заметили в портрете еще что-то другое?

— Нет, ничего. Почему вы спрашиваете? А о преклонении вы больше не говорите — это глупо. Мы с вами друзья, Бэзил, и должны всегда оставаться друзьями.

— У вас есть Гарри, — сказал Холлуорд уныло.

— Ах, Гарри! — Дориан рассмеялся. — Гарри днем занят тем, что *говорит* невозможные вещи, а по вечерам *творит* невероятные вещи. Такая жизнь как раз в моем вкусе. Но в тяжелую минуту я вряд ли пришел бы к Гарри. Скорее к вам, Бэзил.

— И вы опять будете мне позировать?

— Нет, этого я никак не могу!

— Своим отказом вы губите меня как художника. Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Да и один раз редко кто его находит.

— Не могу вам объяснить причины, Бэзил, но мне нельзя больше вам позировать. Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей особой жизнью... Я буду приходить к вам пить чай. Это не менее приятно.

— Для вас, пожалуй, даже приятнее, — огорченно буркнул Холлуорд. — До свидания, Дориан. Очень жаль, что вы не дали мне взглянуть на портрет. Ну, да что поделаешь! Я вас вполне понимаю.

Когда он вышел, Дориан усмехнулся про себя. Бедный Бэзил, как он в своих догадках далек от истины! И не странно ли, что ему, Дориану, не только не пришлось открыть свою тайну, но удалось случайно выведать тайну друга! После исповеди Бэзила Дориану многое стало ясно. Нелепые вспышки ревности и страстная привязанность к нему художника, восторженные дифирамбы, а по временам странная сдержанность и скрытность — все теперь было понятно. И Дориану стало грустно. Что-то трагичное было в такой дружбе, окрашенной романтической влюбленностью.

Он вздохнул и позвонил лакею. Портрет надо во что бы то ни стало убрать отсюда! Нельзя рисковать тем, что тайна раскроется. Безумием было бы и на один час оставить портрет в комнате, куда может прийти любой из друзей и знакомых.

Глава X

Когда Виктор вошел, Дориан пристально посмотрел на него, пытаясь угадать, не вздумал ли он заглянуть за экран. Лакей с самым невозмутимым видом стоял, ожидая приказаний. Дориан закурил папиросу и, подойдя к зеркалу, поглядел в него. В зеркале ему было отчетливо видно лицо Виктора. На этом лице не выражалось ничего, кроме спокойной услужливости. Значит, опасаться нечего. Все же он решил, что надо быть настороже.

Медленно отчеканивая слова, он приказал Виктору позвать к нему экономку, а затем сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двоих рабочих. Ему показалось, что лакей, выходя из комнаты, покосился на экран. Или это только его фантазия? Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лиф в черном шелковом платье и старомодных нитяных митенках на морщинистых руках. Дориан спросил у нее ключ от бывшей классной комнаты.

— От старой классной, мистер Дориан? — воскликнула она. — Да там полно пыли! Я сперва велю ее прибрать и все привести в порядок. А сейчас вам туда и заглянуть нельзя! Никак нельзя!

— Не нужно мне, чтобы ее убирали, Лиф. Мне только ключ нужен.

— Господи, да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете. Ведь вот уже пять лет комнату не открывали — со дня смерти его светлости.

При упоминании о старом лорде Дориана передернуло: у него остались очень тягостные воспоминания о покойном деде.

— Пустяки, — ответил он. — Мне нужно только на минуту заглянуть туда, и больше ничего. Дайте мне ключ.

— Вот, возьмите, сэр. — Старушка неловкими дрожащими руками перебирала связку ключей. — Вот этот. Сейчас сниму его с кольца. Но вы же не думаете перебираться туда, сэр? Здесь внизу у вас так уютно!

— Нет, нет, — перебил Дориан нетерпеливо. — Спасибо, Лиф, можете идти.

Экономка еще на минуту замешкалась, чтобы поговорить о каких-то хозяйственных делах. Дориан со вздохом сказал ей, что но всем полагается на нее. Наконец она ушла очень довольная. Как только дверь за ней захлопнулась, Дориан сунул ключ в карман и окинул взглядом комнату. Ему попало на глаза атласное покрывало, пурпурное, богато расшитое золотом, — великолепный образец венецианского искусства конца XVII века, — привезенное когда-то его дедом из монастыря близ Болоньи. Да, этим покрывалом можно закрыть страшный портрет! Быть может, оно некогда служило погребальным покрывалом. Теперь эта ткань укроет картину разложения, более страшного, чем разложение трупа, ибо оно будет порождать ужасы, и ему не будет конца. Как черви пожирают мертвое тело, так пороки Дориана Грея будут разъедать его изображение на полотне. Они изложут его красоту, уничтожат очарование. Они осквернят его и опозорят. И все-таки портрет будет цел. Он будет жить вечно.

При этой мысли Дориан вздрогнул и на миг пожалел, что не сказал правду Холлуорду. Бэзил поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с еще более опасным влиянием его собственного темперамента. Любовь, которую питает к нему Бэзил (а это, несомненно, самая настоящая любовь), — чувство благородное и возвышенное. Это не обыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами и умирающее, когда они ослабевают в человеке. Нет, это любовь такая, какую знали Микеланджело, и Монтень, и Винкельман,¹³ и Шекспир. Да, Бэзил мог бы спасти его. Но теперь уже поздно. Прошлое всегда можно изгладить раскаянием, забвением или отречением, будущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят страсти, которые найдут себе ужасный выход, и смутные грезы, которые омрачат его жизнь, если осуществятся. Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в обеих руках, зашел за экран. Не стало ли еще противнее лицо на портрете? Нет, никаких новых изменений не было заметно. И все-таки

¹³ Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1768) — выдающийся немецкий теоретик искусства.

Дориан смотрел на него теперь с еще большим отвращением. Золотые кудри, голубые глаза и розовые губы — все как было. Изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью. В сравнении с этим обвиняющим лицом как ничтожны были укоры Бэзила, как пусты и ничтожны! С портрета на Дориана смотрела его собственная душа и призывала его к ответу.

С гримасой боли Дориан поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана как раз тогда, когда в комнату вошел лакей.

— Люди здесь, мосье.

Дориан подумал, что Виктора надо услатить сейчас же, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. У Виктора глаза умные, и в них светится хитрость, а может, и коварство. Ненадежный человек! И, сев за стол, Дориан написал записку лорду Генри, в которой просил прислать что-нибудь почитать и напоминать, что они сегодня должны встретиться в четверть девятого.

— Передайте лорду Генри и подождите ответа, — сказал он Виктору, вручая ему записку. — А рабочих приведите сюда.

Через две-три минуты в дверь снова постучали, появился мистер Хаббард собственной персоной, знаменитый багетный мастер с Саут-Одли-стрит, и с ним его помощник, довольно неотесанный парень. Мистер Хаббард представлял собой румяного человечка с рыжими бакенбардами. Его поклонение искусству значительно умерялось хроническим безденежьем большинства его клиентов — художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. В Дориане было что-то такое, что всех располагало к нему. Приятно было даже только смотреть на него.

— Чем могу служить, мистер Грей? — осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснушчатые руки. — Я полагал, что мне следует лично явиться к вам. Я как раз приобрел чудесную раму, сэр. Она мне досталась на распродаже. Старинная флорентийская — должно быть, из Фонтхилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей!

— Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард. Я зайду, конечно, взглянуть на раму, хотя сейчас не особенно увлекаюсь религиозной живописью. Но сегодня мне требуется только перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил вас прислать людей.

— Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство? Я очень рад, что могу вам быть полезен. Где картина, сэр?

— Вот она, — ответил Дориан, отодвигая в сторону экран. — Можно ее перенести как есть, не снимая покрывала? Я боюсь, как бы ее не исцарапали при переноске.

— Ничего тут нет трудного, сэр, — услужливо сказал багетчик и с помощью своего подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он висел. — А куда же прикажете ее перенести, мистер Грей?

— Я вам покажу дорогу, мистер Хаббард. Будьте добры следовать за мной. Или, пожалуй, лучше вы идите вперед. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, она шире.

Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице наверх. Из-за украшений массивной рамы портрет был чрезвычайно громоздким, и время от времени Дориан пытался помогать рабочим, несмотря на подобострастные протесты мистера Хаббарда, который, как все люди его сословия, не мог допустить, чтобы знатный джентльмен делал что-либо полезное.

— Груз немалый, сэр, — сказал он, тяжело дыша, когда они добрались до верхней площадки, и отер потную лысину. — Да, довольно-таки тяжелый, — буркнул в ответ Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его странную тайну и скрывать его душу от людских глаз. Больше четырех лет он не заходил сюда. Когда он был

ребенком, здесь была его детская, потом, когда подрос, — классная комната. Эту большую, удобную комнату покойный лорд Келсо специально пристроил для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью или по каким-то другим причинам терпеть не мог и старался держать подальше от себя. Дориан подумал, что с тех пор в комнате ничего не переменилось. Так же стоял здесь громадный итальянский сундук — cassone — с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени золочеными украшениями, в нем часто прятался маленький Дориан. На месте был и книжный шкаф красного дерева, набитый растрепанными учебниками, а на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский гобелен, на котором сильно вылинявшие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницей проезжали на конях сокольничьи, держа на своих латных рукавицах соколов в кlobучках. Как все это было знакомо Дориану! Каждая минута его одинокого детства вставала перед ним, пока он осматривался кругом. Он вспомнил непорочную чистоту той детской жизни, и жутко ему стало при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее! Но в доме нет другого места, где портрет был бы так надежно укрыт от любопытных глаз. Ключ теперь в руках у него, Дориана, и никто другой не может проникнуть сюда. Пусть лицо портрета под своим пурпурным саваном становится скотски тупым, жестоким и порочным. Что за беда? Ведь никто этого не увидит. Да и сам он не будет этого видеть. К чему наблюдать отвратительное разложение своей души? Он сохранит молодость — и этого довольно.

Впрочем, разве он не может исправиться? Разве позорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и очистит его, уберет от новых грехов, рождающихся в душе и теле, — тех неведомых, еще никем не описанных грехов, которым самая таинственность их придает коварное очарование. Быть может, настанет день, когда этот алый чувственный рот утратит жестокое выражение и можно будет показать миру шедевр Бэзила Холлуорда?..

Нет, на это надежды нет. Ведь с каждым часом, с каждой неделей человек на полотне будет становиться старше. Если даже на нем не отразятся тайные преступления и пороки, — безобразных следов времени ему не избежать. Щеки его станут дряблыми или ввялятся. Желтые «гусиные лапки» лягут вокруг потускневших глаз и уничтожат их красоту. Волосы утратят блеск, рот, как всегда у стариков, будет бессмысленно полуоткрыт, губы безобразно отвиснут. Морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина — все будет как у его покойного деда, который был так суров к нему. Да, портрет надо спрятать, ничего не поделаешь!

— Несите сюда, мистер Хаббард, — устало сказал Дориан, обернувшись. — Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете.

— Ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть, — отозвался багетчик, все еще не отдышавшийся. — Куда прикажете поставить картину, сэр?

— Куда-нибудь, все равно. Ну, хотя бы тут. Вешать не надо. Просто прислоните ее к стене. Вот так, спасибо.

— Нельзя ли взглянуть на это произведение искусства, сэр? Дориан вздрогнул.

— Не стоит. Оно вряд ли вам понравится, мистер Хаббард, — сказал он, в упор глядя на багетчика. Он готов был кинуться на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять пышную завесу, скрывающую тайну его жизни. — Ну, не буду больше утруждать вас. Очень вам признателен, что вы были так любезны и пришли сами.

— Не за что, мистер Грей, не за что! Я всегда к вашим услугам, сэр!

Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться с лестницы, а за ним — его подручный, который то и дело оглядывался на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице: он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей.

Как только внизу затих шум шагов, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Ничей глаз не увидит больше страшный портрет. Он один будет лицезреть свой позор.

Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже шестой час и чай подан. На столике темного душистого дерева, богато инкрустированном перламутром (это был подарок леди Рэдли, жены его опекуна, дамы, вечно занятой своими болезнями и прошлую зиму жившей в Каире), лежала записка от лорда Генри и рядом с нею книжка в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе — третий выпуск «Сент-Джемской газеты». Очевидно, Виктор уже вернулся. Дориан спрашивал себя, не встретился ли его лакей с уходившими рабочими и не узнал ли от них, что они здесь делали. Виктор, разумеется, заметит, что в библиотеке нет портрета... Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. Чего доброго, он как-нибудь ночью накроет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь классной. Ужасно это — иметь в доме шпиона! Дориану приходилось слышать о том, как богатых людей всю жизнь шантажировал кто-нибудь из слуг, которому удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева... При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая, верно, заинтересует Дориана, а в четверть девятого будет ожидать его в клубе.

Дориан рассеянно взял газету и стал ее просматривать. На пятой странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Он прочел следующее:

"Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в Бэлл-Тэверн на Хокстон-Род участковым следователем, мистером Дэнби, произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибила Вэйн, последнее время выступавшей в Холборнском Королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызывала мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор Бирелл, производивший вскрытие тела Сибила Вэйн".

Дориан, нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности! Он рассердился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. А еще глупее то, что он обвел ее красным карандашом: ведь Виктор мог ее прочесть. Для этого он достаточно знает английский язык.

Да, может быть, лакей уже прочел и что-то подозревает... А впрочем, к чему беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грей к смерти Сибила Вэйн? Ему бояться нечего — он ее не убивал.

Взгляд Дориана случайно остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Осьмиугольный, выложенный перламутром столик казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение.

Странная то была книга, никогда еще он не читал такой! Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним.

То был роман без сюжета, вернее — психологический этюд. Единственный герой его, молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей искусственностью те формы отречения, которые люди безрассудно именуют добродетелями, и в такой же мере — те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы

символистов. Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь — описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. И, глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру и в углах комнаты залегли тени.

Безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда, мерцало за окном. А Дориан все читал при его неверном свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний лакея, что уже поздно, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентийской работы, стоявший у кровати, стал переодеваться к обеду.

Было уже около девяти, когда он приехал в клуб. Лорд Генри сидел один, дожидаясь его, с весьма недовольным и скучающим видом.

— Ради бога, простите, Гарри! — воскликнул Дориан. — Но, в сущности, опоздал я по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошел день.

— Я так и знал, что она вам понравится, — отозвался лорд Генри, вставая.

— Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал: «околдовала». Это далеко не одно и то же.

— Ага, вы уже поняли разницу? — проронил лорд Генри. Они направились в столовую.

Глава XI

В течение многих лет Дориан Грей не мог освободиться от влияния этой книги. Вернее говоря, он вовсе не старался от него освободиться. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров, роскошно изданных, и заказал для них переплеты разных цветов, — цвета эти должны были гармонировать с его настроениями и прихотями изменчивой фантазии, с которой он уже почти не мог совладать.

Герой книги, молодой парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичность и трезвый ум ученого, казался Дориану прототипом его самого, а вся книга — историей его жизни, написанной раньше, чем он ее пережил.

В одном Дориан был счастливее героя этого романа. Он никогда не испытывал, и ему не суждено было никогда испытать болезненный страх перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью, — страх, который с ранних лет узнал молодой парижанин, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, в которых с подлинно трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом описывались скорбь и отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дориан читал с чувством, похожим на злорадство, — впрочем, в радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто жестокое.

Да, Дориан радовался, ибо его чудесная красота, так пленявшая Бэзила Холлуорда и многих других, не увядала и, по-видимому, была ему дана на всю жизнь. Даже те, до кого доходили темные слухи о Дориане Грее (а такие слухи об его весьма подозрительном образе жизни время от времени ходили по всему Лондону и вызывали толки в клубах), не могли поверить бесчестившим его сплетням: ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие непристойности, умолкали, когда входил Дориан Грей. Безмятежная ясность его лица была для них как бы смущающим укором. Одно уж его присутствие напоминало им об утраченной чистоте. И они удивлялись тому, что этот обаятельный человек сумел избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей.

Часто, вернувшись домой после одной из тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали подозрения у его друзей или тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, шел наверх, в свою бывшую детскую, и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом, глядя то на отталкивающее и все более старевшее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему в зеркале. Чем разительнее становился контраст между тем и другим, тем острее Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души. С напряженным вниманием, а порой и с каким-то противоестественным удовольствием разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый лоб и ложившиеся вокруг отяжелевшего чувственного рта, и порой задавал себе вопрос, что страшнее и омерзительнее — печать порока или печать возраста? Он приближал свои белые руки к огрубевшим и дряблым рукам на портрете — и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным, изношенным телом.

Правда, иногда по ночам, когда он лежал без сна в своей благоухающей тонкими духами спальне или в грязной камерке подозрительного притона близ доков, куда он часто ходил переодетый и под вымышленным именем, — Дориан Грей думал о том, что он погубил свою душу, думал с отчаянием, тем более мучительным, что оно было вполне эгоистично. Но такие минуты бывали редко. Любопытство к жизни, которое впервые пробудил в нем лорд Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их общего друга Холлуорда, становилось тем острее, чем усерднее Дориан удовлетворял его. Чем больше он узнавал, тем больше жаждал узнать. Этот волчий голод становился тем неутолимее, чем больше он утолял его.

Однако Дориан не отличался безрассудной смелостью и легкомыслием — во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой — раза два в месяц, а в остальное время года — каждую среду двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и здесь самые известные и «модные» в то время музыканты пленяли их чудесами своего искусства. Его обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, славились тщательным подбором приглашенных, а также изысканным убранством стола, представлявшим собой настоящую симфонию экзотических цветов, вышитых скатертей, старинной золотой и серебряной посуды. И много было (особенно среди зеленой молодежи) людей, видевших в Дориане Грее тот идеал, о котором они мечтали в студенческие годы, — сочетание подлинной культурности ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, «гражданина мира». Он казался им одним из тех, кто, как говорит Данте, «стремится облагородить душу поклонением красоте». Одним из тех, для кого, по словам Готье, и создан видимый мир.

И, несомненно, для Дориана сама Жизнь была первым и величайшим из искусств, а все другие искусства — только преддверием к ней. Конечно, он отдавал дань и Моде, которая на время может осуществить любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и Дендизму, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия о Красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мэйфере и в клубах Пэлл-Мэлла. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в случайных мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения.

Дориан весьма охотно занял то положение в обществе, какое было ему предоставлено по достижении совершеннолетия, и его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима времен императора Нерона был автор «Сатирикона». Но в глубине души он желал играть роль более значительную, чем простой «*arbiter elegantiarum*»,¹⁴ у которого спрашивают совета, какие надеть драгоценности, как завязать галстук или носить трость. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет

¹⁴ Законодатель мод (лат.).

свое разумное обоснование, свои последовательные принципы, и высший смысл жизни видел в одухотворении чувств и ощущений.

Кульτ жизни чувственной часто и вполне справедливо осуждался, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их, и, как мы знаем, свойственны и существам низшим. Но Дориану Грею казалось, что истинная природа этих чувств еще до сих пор не понята и они остаются животными и необузданными лишь потому, что люди всегда старались их усмирить, не давая им пищи, или убить страданием, вместо того чтобы видеть в них элементы новой духовной жизни, в которой преобладающей чертой должно быть высокоразвитое стремление к Красоте.

Оглядываясь на путь человечества в веках, Дориан не мог отделаться от чувства глубокого сожаления. Как много упущено, сколько уступок сделано — и ради какой ничтожной цели! Бессмысленное, упрямое отречение, уродливые формы самоистязания и самоограничения, в основе которых лежал страх, а результатом было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемое «падение», от которого люди в своем неведении стремились спастись. Недаром же Природа с великолепной иронией всегда гнала анахоретов в пустыню к диким зверям, давала святым отшельникам в спутники жизни четвероногих обитателей лесов и полей.

Да, прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, который должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему возродившегося в наши дни. Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт страстей. Цель гедонизма — именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места аскетизму, умерщвляющему чувства, так же как и грубому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо и сама жизнь — лишь преходящее мгновение.

Кто из нас не просыпался порой до рассвета после сна без сновидений, столь сладкого, что нам становился почти желанным вечный сон смерти, или после ночи ужаса и извращенной радости, когда в клетках мозга возникают видения страшнее самой действительности, живые и яркие, как всякая фантастика, исполненные той властной силы, которая делает таким живучим готическое искусство, как будто созданное для тех, кто болен мечтательностью? Всем памятливы эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета пробиваются сквозь занавески, и кажется, будто занавески дрожат. Черные причудливые тени бесшумно уползли в углы комнаты и притаились там. А за окном среди листвы уже шумят птицы, на улице слышны шаги идущих на работу людей, порой вздохи и завывания ветра, который налетает с холмов и долго бродит вокруг безмолвного дома, словно боясь разбудить спящих, но все же вынужден прогнать сон из его пурпурного убежища. Одна за другой поднимаются легкие, как вуаль, завесы мрака, все вокруг медленно обретает прежние формы и краски, и на ваших глазах рассвет возвещает окружающему миру его обычный вид. Тусклые зеркала снова начинают жить своей отраженной жизнью. Потушенные свечи стоят там, где их оставили накануне, а рядом — не до конца разрезанная книга, которую вчера читали, или увядший цветок, вчера вечером на балу украшавший вашу петлицу, или письмо, которое вы боялись прочесть или перечитывали слишком часто. Ничто как будто не изменилось. Из призрачных теней ночи снова встает знакомая действительность. Надо продолжать жизнь с того, на чем она вчера остановилась, и мы с болью сознаем, что обречены непрерывно тратить силы, вертеться все в том же утомительном кругу привычных стереотипных занятий. Иногда мы в эти минуты испытываем страстное желание, открыв глаза, увидеть новый мир, преобразившийся за ночь, нам на радость, мир, в котором все приняло новые формы и оделось живыми, светлыми красками, мир, полный перемен и новых тайн, мир, где прошлому нет места или отведено место весьма скромное, и если это прошлое еще живо, то, во всяком случае, не в виде обязательств или сожалений, ибо даже в воспоминании о счастье есть своя горечь, а память о минувших наслаждениях причиняет боль.

Именно создание таких миров представлялось Дориану Греху главной целью или одной из главных целей жизни; и в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые содержали бы в себе основной элемент романтики — необычайность, он часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность, насытив свою любознательность, отрекался от них с тем равнодушием, которое не только совместимо с пылким темпераментом, но, как утверждают некоторые современные психологи, часто является необходимым его условием.

Одно время в Лондоне говорили, что Дориан намерен перейти в католичество. Действительно, обрядность католической религии всегда очень нравилась ему. Таинство ежедневного жертвоприношения за литургией, более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств, первобытной простотой, извечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дориан любил преклонять колена на холодном мраморе церковных плит и смотреть, как священник в тяжелом парчовом облачении медленно снимает бескровными руками покров с дарохранильницы или возносит сверкающую драгоценными камнями дароносицу, похожую на стеклянный фонарь с бледной облаткой внутри, — и тогда ему хотелось верить, что это в самом деле «*panis caelestis*», «хлеб ангелов». Любил Дориан и тот момент, когда священник в одеянии страстей господних преломляет гостию над чашей и бьет себя в грудь, сокрушаясь о грехах своих. Его пленяли дымящиеся кадилницы, которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчиков с торжественно-серьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, Дориан с интересом посматривал на темные исповедальни, а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветхие решетки правду о своей жизни.

Однако Дориан понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучение значило бы ставить какой-то предел своему умственному развитию, и никогда он не делал такой ошибки; он не хотел считать своим постоянным жилищем гостиницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе. Одно время он был увлечен мистицизмом, его дивным даром делать простое таинственным и необычайным, и всегда сопутствующей ему сложной парадоксальностью. В другой период своей жизни Дориан склонялся к материалистическим теориям немецкого дарвинизма, и ему доставляло своеобразное удовольствие сводить все мысли и страсти людские к функции какой-нибудь клетки серого вещества мозга или белых нервных волокон: так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий, патологических или здоровых, нормальных или ненормальных! Однако все теории, все учения о жизни были для Дориана ничто по сравнению с самой жизнью. Он ясно видел, как бесплодны всякие отвлеченные умозаключения, не связанные с опытом и действительностью. Он знал, что чувственная жизнь человека точно так же, как духовная, имеет свои священные тайны, которые ждут открытия.

Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии.

Был в жизни Дориана и такой период, когда он весь отдавался музыке, и тогда в его доме, в длинной зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены покрыты оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные

концерты: лихие цыгане исторгали дикие мелодии из своих маленьких цитр, величавые тунисцы в желтых шалях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные барабаны, а стройные, худощавые индийцы в чалмах сидели, поджав под себя ноги, на красных циновках и, наигрывая на длинных дудках, камышовых и медных, зачаровывали (или делали вид, что зачаровывают) больших ядовитых кобр и отвратительных рогатых ехидн. Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки волновали Дориана в такие моменты, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные, какие можно найти только в гробницах вымерших народов или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших при столкновении с западной цивилизацией. Он любил пробовать все эти инструменты. В его коллекции был таинственный «джурупарис» индейцев Рио-Негро, на который женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти; были перуанские глиняные кувшины, издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц, и те флейты из человеческих костей, которым некогда внимал в Чили Альфонсо де Овалле, и поющая зеленая яшма, находимая близ Куцко и звенящая удивительно приятно. Были в коллекции Дориана и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые гремят при встряхивании, и длинный мексиканский кларнет, — в него музыкант не дует, а во время игры втягивает в себя воздух; и резко звучащий «туре» амазонских племен, — им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях, и звук этого инструмента слышен за три лье; и «тепонацли» с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными камедью из млечного сока растений; и колокольчики ацтеков, «иотли», подвешенные гроздьями наподобие винограда; и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса, Бернал Диас, так живо описавший жалобные звуки этого барабана.

Дориана эти инструменты интересовали своей оригинальностью, и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли, что Искусство, как и Природа, создает иногда уродов, оскорбляющих глаз и слух человеческий своими формами и голосами.

Однако они ему скоро надоели. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал «Тангейзера», и ему казалось, что в увертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души.

Затем у него появилась новая страсть: драгоценные камни. На одном бале-маскараде он появился в костюме французского адмирала Анн-де-Жуайез, и на его камзоле было нашито пятьсот шестьдесят жемчужин. Это увлечение длилось много лет, — даже, можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целые дни перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые хризобериллы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густо-розовые и золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламенно-алые, с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венисы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дориана пленяло червонное золото солнечного камня, и жемчужная белизна лунного камня, и радужные переливы в молочном опале. Ему достали в Амстердаме три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную бирюзу, предмет зависти всех знатоков.

Дориан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонсо «Clericalis Disciplina»¹⁵ упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта, а в романтической истории Александра рассказывается, что покоритель Эматии видел в долине Иордана змей «с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками».

¹⁵ «Наставления для клириков» (лат.).

В мозгу дракона, как повествует Филострат, находится драгоценный камень, «и если показать чудовищу золотые письма и пурпурную ткань, оно уснет волшебным сном, и его можно умертвить».

По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифаса, алмаз может сделать человека невидимым, а индийский агат одаряет его красноречием. Сердолик утишает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные пары. Гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. Селенит убывает и прибывает вместе с луной, а мелоций, изобличающий вора, теряет силу только от крови козленка.

Леонард Камилл видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием. А безоар, который находят в сердце аравийского оленя, — чудодейственный амулет против чумы. В гнездах каких-то аравийских птиц попадает камень аспилат, который, как утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит.

В день своего коронавания король цейлонский проезжал по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца пресвитера Иоанна «были из сердолика, и в них был вставлен рог ехидны — для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец».

На шпиле красовались «два золотых яблока, а в них два карбункула — для того, чтобы днем сияло золото, а ночью — карбункулы». В странном романе Лоджа «Жемчужина Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть «серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов». Марко Поло видел, как жители Чипангу кладут в рот своим мертвецам розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Перозе, чудище умертвило похитителя и в течение семи лун оплакивало свою утрату. Позднее, как повествует Прокопий, гунны заманили короля Перозе в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее пятьсот фунтов золота.

А король малабарский показывал одному венецианцу четки из трехсот четырех жемчужин — по числу богов, которым этот король поклонялся.

Когда герцог Валентинуа, сын Александра Шестого, приехал в гости к французскому королю Людовику Двенадцатому, его конь, если верить Брантому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. У верхового коня Карла Английского на стремянах было нашито четыреста двадцать бриллиантов. У Ричарда Второго был плащ, весь покрытый лалами, — он оценивался в тридцать тысяч марок. Холл так описывает костюм Генриха Восьмого, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронавания: «На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов». Фаворитки Иакова Первого носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдвард Второй подарил Пирсу Гэйвстону доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих Второй носил перчатки, до локтя унизанные дорогими камнями, а на его охотничьей рукавице были нашиты двенадцать рубинов и пятьдесят две крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами.

Как красива была когда-то жизнь! Как великолепна в своей радующей глаз пышности! Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением.

Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучение, — а Дориан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, — он чуть не с горестью замечал, как разрушает Время все прекрасное и неповторимое.

Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи. Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увядали желтые жонкилы, и безумные ночи вновь и вновь

повторялись во всем своем ужасе и позоре, а Дориан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми! Куда они девались? Где дивное одеяние шафранного цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами для Афины Паллады? Где велариум, натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем, это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, влекомой белыми конями в золотой упряжи? Дориан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца Солнца изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для пиров; или погребальный покров короля Хилперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел; или возбуждавшие негодование епископа Понтийского фантастические одеяния — на них изображены были «львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники, — словом, все, что художник может увидеть в природе»; или ту одежду принца Карла Орлеанского, на рукавах которой были вышиты стихи, начинавшиеся словами: «*Madame, je suis tout joyeux*», ¹⁶ и музыка к ним, причем нотные линейки вышиты были золотом, а каждый нотный знак (четыреугольный, как принято было тогда) — четырьмя жемчужинами.

Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты «тысяча триста двадцать один попугай и пятьсот шестьдесят одна бабочка, на крыльях у птиц красовался герб королевы, и все из чистого золота».

Траурное ложе Екатерины Медичи было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Полог был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояло это ложе в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика Четырнадцатого были вышиты золотом кариатиды высотой в пятнадцать футов. Парадное ложе польского короля, Яна Собеского, стояло под шатром из золотой смирнской парчи с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки, серебряные, вызолоченные, дивной работы, были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веной. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета.

В течение целого года Дориан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скарабеев; газ из Дакки, за свою прозрачность получивший на Востоке названия «ткань из воздуха», «водяная струя», «вечерняя роса»; причудливо разрисованные ткани с Явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы; книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и всякими другими рисунками; вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат; грузинские изделия с золотыми цехинами и японские «фукусас» золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски.

Особое пристрастие имел Дориан к церковным облачениям, как и ко всему, что связано с религиозными обрядами. В больших кедровых сундуках, стоявших на западной галерее его дома, он хранил множество редчайших и прекраснейших одежд, достойных быть одеждами невест Христовых, ибо невеста Христова должна носить пурпур, драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свое бескровное тело, истощенное добровольными лишениями, израненное самобичеваниями. Дориан был также обладателем великолепной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором — золотыми плодами граната, венками из шестилепестковых цветов и вышитыми мелким жемчугом ананасами. Опарь был разделен на квадраты, и на каждом квадрате изображены сцены из жизни пресвятой девы, а

¹⁶ Сударыня, я очень счастлив (франц.).

ее венчание было вышито цветными шелками на капюшоне. Это была итальянская работа XV века.

Другая риза была из зеленого бархата, на котором листья аканта, собранные сердцевидными пучками, и белые цветы на длинных стеблях вышиты были серебряными нитями и цветным бисером; на застежке золотом вышита голова серафима, а орарь заткан ромбовидным узором, красным и золотым, и усеян медальонами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна.

Были у Дориана и другие облачения священников — из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтой камки и глазета, на которых были изображены Страсти Господни и Распятие, вышиты львы, павлины и всякие эмблемы; были далматики из белого атласа и розового штофа с узором из тюльпанов, дельфинов и французских лилий, были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминсов и покровы для потиров. Мистические обряды, для которых употреблялись эти предметы, волновали воображение Дориана.

Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепно убранном доме, помогали ему хоть на время забыться, спастись от страха, который порой становился уже почти невыносимым. В нежилой, запертой комнате, где он провел когда-то так много дней своего детства, он сам повесил на стену роковой портрет, в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду о своей жизни, и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По несколько недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью, тайком ускользнув из дому, отправлялся в какие-то грязные притоны близ Блу-Гэйт-Филдс и проводил там дни до тех пор, пока его оттуда не выгоняли. А воротясь домой, садился перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его и себя, порой же — с той гордостью индивидуалиста, которая влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, Дориану, бремя.

Через несколько лет Дориан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо вне Англии. Он отказался от виллы в Трувиле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И, кроме того, боялся, как бы в его отсутствие в комнату, где стоял портрет, кто-нибудь не забрался, несмотря на надежные засовы, сделанные по его распоряжению.

Впрочем, Дориан был вполне уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранил явственное сходство с ним, но что же из этого? Дориан высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он писал портрет, — так кто же станет винить его в этом постыдном безобразии? Да если бы он и рассказал людям правду, — разве кто поверит?

И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме на Ноттингемшайре принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих празднеств, он внезапно, в разгаре веселья, покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь классной, на месте ли портрет. Что, если его уже украли? Самая мысль об этом леденила кровь Дориана. Ведь тогда свет узнает его тайну! Быть может, люди уже и так кое-что подозревают?

Да, он очаровывал многих, но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не забаллотировали в одном вестэндском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчиллклуба, герцог Бервикский, а за ним и другой джентльмен встали и демонстративно вышли. Темные слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет двадцать пять. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала

Уайтчепла, где у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайны их ремесла. Об его странных отлучках знали уже многие, и, когда он после них снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам, а проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные, испытующие взгляды, словно желая узнать наконец правду о нем.

Дориан, разумеется, не обращал внимания на такие дерзости и знаки пренебрежения, а для большинства людей его открытое добродушие и приветливость, обаятельная, почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы — так эти люди называли слухи, ходившие о Дориане.

Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату.

Впрочем, темные слухи о Дориане только придавали ему в глазах многих еще больше очарования, странного и опасного. Притом и его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество — по крайней мере, цивилизованное общество — не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных. Оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетели, и самого почтенного человека ценят гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара. И, в сущности, это правильно: когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешает сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречно нравственный. Как сказал однажды лорд Генри, когда обсуждался этот вопрос, — самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого вам подают недостаточно горячие кушанья. И в защиту такого мнения можно сказать многое. Ибо в хорошем обществе царят — или должны бы царить — те же законы, что в искусстве: форма здесь играет существенную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии, она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство — такой уж великий грех? Вряд ли. Оно — только способ придать многообразие человеческой личности.

Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мириадами жизней и мириадами ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков.

Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих «Мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Иакова» рассказывает, что «он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала». Дориан спрашивал себя: не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта? Быть может, в их роду какой-то отравляющий микроб переходил от одного к другому, пока не попал в его собственное тело? Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской Бэзила Холлуорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь?

А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его сложены доспехи, серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованны Неаполитанской перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека, при жизни не дерзнувшего их осуществить?

Дальше с уже выцветающего полотна улыбалась Дориану леди Елизавета Девере в

кружевом чепце и расшитом жемчугом корсаже с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, а в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандолина и яблоко, на ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дориану была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли он и какие-то свойства ее темперамента? Ее удлинённые глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством.

Ну а что досталось ему от Джорджа Уиллоуби, мужчины в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно-жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь восемнадцатого века в молодости был другом лорда Феррарса.

А второй лорд Бикингем, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт? Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе! Какие страсти оставил он в наследство потомку? Современники считали его человеком без чести. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карлтонхаузе. На груди его сверкает орден Подвязки...

Рядом висит портрет его жены, узкогубой и бледной женщины в черном. «И ее кровь тоже течет в моих жилах, — думал Дориан. — Как все это любопытно!»

А вот мать. Женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно омоченными в вине губами... Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее: свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шел.

А ведь у человека есть предки не только в роду: они у него есть и в литературе. И многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. В иные минуты Дориану Грею казалось, что вся история человечества — лишь летопись его собственной жизни, не той действительной, созданной обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении, покорный требованиям мозга и влечениям страстей. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло — столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью.

Герой увлекательной книги, которая оказала на Дориана столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он в обличье Тиберия, увенчанный лаврами, предохраняющими от молнии, саживал в саду на Капри и читал бесстыдные книги Элефантиды, а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадилщика фимиама. Он был и Калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своей лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был Домицианом и, бродя по коридору, облицованному плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражения кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской, *taedium vitae*, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами с серебряными подковами, возвращался в свой Золотой дворец Гранатовой аллеей, провожаемый криками толпы, проклинавшей его, цезаря Нерона. Он был и Гелиогабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с Солнцем.

Вновь и вновь перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующих, в которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, кого Пресыщенность, Порок и Кроважность превратили в чудовищ или безумцев. Филиппе, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Венецианский Пьетро Барби, известный под именем Павла Второго и в своем тщеславии добившийся, чтобы его величали «Формозус», то есть «Прекрасный»; его тиара, стоившая двести тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан Мария Висконти, травивший людей собаками; когда он был убит, труп его усыпала розами любившая его гетера. Цезарь Борджиа на белом коне — с ним рядом скакало братоубийство, и на плаще его была кровь Перотто. Молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста Четвертого, Пьетро Риарио, чья красота равнялась только его развращенности; он принимал Леонору Арагонскую в шатре из белого и алого шелка, украшенном нимфами и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который должен был на пиру изображать Ганимеда или Гиласа. Эзелин, чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти, — он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину; по преданию, он был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джанбаттиста Чибо, в насмешку именовавший себя Невинным, тот Чибо, в чья истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Сиджизмондо Малатеста, любовник Изотты и сюзеренный властитель Римини, который задушил салфеткой Поликсену, а Джиневре д'Эсте поднес яд в изумрудном кубке; он для культа постыдной страсти воздвиг языческий храм, где совершались христианские богослужения. Изображение этого врага бога и людей сожгли в Риме. Карл Шестой, который так страстно любил жену брата, что один прокаженный предсказал ему безумие от любви; когда ум его помутился, его успокаивали только сарацинские карты с изображениями Любви, Смерти и Безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони в нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе на акантоподобных кудрях, убийца Асторре и его невесты, а также Симонетто и его пажа, столь прекрасный, что, когда он умирал на желтой пьяде Перуджии, даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а проклявшая его Аталанта благословила его.

Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления: отравляла с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни.

Глава XII

Это было девятого ноября и (как часто вспоминал потом Дориан) накануне дня его рождения, когда ему исполнилось тридцать восемь лет.

Часов в одиннадцать вечера он возвращался домой от лорда Генри, у которого обедал. Он шел пешком, до глаз закутанный в шубу, так как ночь была холодная и туманная. На углу Гровенор-сквер и Саус-Одли-стрит мимо него во мгле промелькнул человек, шедший очень быстро с саквояжем в руке. Воротник его серого пальто был поднят, но Дориан узнал Бэзила Холлуорда. Неизвестно почему, его вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он и виду не подал, что узнал Бэзила, и торопливо зашагал дальше.

Но Холлуорд успел его заметить. Дориан слышал, как он остановился и затем стал его догонять. Через минуту рука Бэзила легла на его плечо.

— Дориан! Какая удача! Я ведь дожидался у вас в библиотеке с девяти часов. Потом наконец сжалился над вашим усталым лакеем и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. Ждал я вас потому, что сегодня двенадцатичасовым уезжаю в Париж, и мне очень нужно перед отъездом с вами потолковать. Когда вы прошли мимо, я узнал вас, или, вернее,

вашу шубу, но все же сомневался... А вы-то разве не узнали меня?

— В таком тумане, милый мой Бэзил? Я даже Гровенор-сквер не узнаю. Думаю, что мой дом где-то здесь близко, но и в этом вовсе не уверен... Очень жаль, что вы уезжаете, я вас не видел целую вечность. Надеюсь, вы скоро вернетесь?

— Нет, я пробуду за границей месяцев шесть. Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну задуманную мною большую вещь. Ну, да я не о своих делах хотел говорить с вами. А вот и ваш подъезд. Позвольте мне войти на минуту.

— Пожалуйста, я очень рад. Но вы не опоздаете на поезд? — небрежно бросил Дориан Грей, взойдя по ступеням и отпирая дверь своим ключом.

При свете фонаря, пробивавшемся сквозь туман, Холлуорд посмотрел на часы.

— У меня еще уйма времени, — сказал он. Поезд отходит в четверть первого, а сейчас только одиннадцать. Я ведь все равно шел в клуб, когда мы встретились, — рассчитывал застать вас там. С багажом возиться мне не придется — я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж, и за двадцать минут я доберусь до вокзала Виктории.

Дориан посмотрел на него с улыбкой.

— Вот как путешествует известный художник! Ручной саквояж и осеннее пальтишко! Ну, входите же скорее, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не затевайте серьезных разговоров. В наш век ничего серьезного не происходит. Во всяком случае, не должно происходить.

Холлуорд только головой покачал и прошел вслед за Дорианом в его библиотеку. В большом камине ярко пылали дрова, лампы были зажжены, а на столике маркетри стоял открытый серебряный погребец с напитками, сифон с содовой водой и высокие хрустальные бокалы.

— Видите, ваш слуга постарался, чтобы я чувствовал себя как дома. Принес все, что нужно человеку, в том числе и самые лучшие ваши папиросы. Он очень гостеприимный малый и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш камердинер. Кстати, куда он девался?

Дориан пожал плечами.

— Кажется, женился на горничной леди Рэдли и увез ее в Париж, где она подвизается в качестве английской портнихи. Там теперь, говорят, англomania в моде. Довольно глупая мода, не правда ли?.. А Виктор, между прочим, был хороший слуга, я не мог на него пожаловаться. Он был мне искренне предан и, кажется, очень горевал, когда я его уволил. Но я его почему-то невзлюбил... Знаете, иногда придет в голову какой-нибудь вздор... Еще стакан бренди с содовой? Или вы предпочитаете рейнское с сельтерской? Я всегда пью рейнское. Наверное, в соседней комнате найдется бутылка.

— Спасибо, я ничего больше не буду пить, — отозвался художник. Он снял пальто и шляпу, бросил их на саквояж, который еще раньше поставил в углу. — Так вот, Дориан мой милый, у нас будет серьезный разговор. Не хмурьтесь, пожалуйста, — этак мне очень трудно будет говорить.

— Ну, в чем же дело? — воскликнул Дориан нетерпеливо, с размаху садясь на диван. — Надеюсь, речь будет не обо мне? Я сегодня устал от себя и рад бы превратиться в кого-нибудь другого.

— Нет, именно о вас, — сказал Холлуорд суровым тоном. — Это необходимо. Я отниму у вас каких-нибудь полчаса, не больше.

— Полчаса! — пробормотал Дориан со вздохом и закурил папиросу.

— Не так уж это много, Дориан, и разговор этот в ваших интересах. Мне думается, вам следует узнать, что о вас в Лондоне говорят ужасные вещи.

— А я об этом ничего знать не хочу. Я люблю слушать сплетни о других, а сплетни обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны.

— Они *должны* вас интересовать, Дориан. Каждый порядочный человек дорожит своей репутацией. Ведь вы же не хотите, чтобы люди считали вас развратным и бесчестным? Конечно, у вас положение в обществе, большое состояние и все прочее. Но богатство и

высокое положение — еще не все. Поймите, я вовсе не верю этим слухам. Во всяком случае, я не могу им верить, когда на вас смотрю. Ведь порок всегда накладывает свою печать на лицо человека. Его не скроешь. У нас принято говорить о «тайных» пороках. Но тайных пороков не бывает. Они сказываются в линиях рта, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, — вы его знаете, но называть его не буду, — пришел ко мне заказать свой портрет. Я его раньше никогда не встречал, и в то время мне ничего о нем не было известно — наслышался я о нем немало только позднее. Он предложил мне за портрет бешеную цену, но я отказался писать его: в форме его пальцев было что-то глубоко мне противное. И теперь я знаю, что чутье меня не обмануло, — у этого господина ужасная биография. Но вы, Дориан... Ваше честное, открытое и светлое лицо, ваша чудесная, ничем не омраченная молодость мне порукой, что дурная молва о вас — клевета, и я не могу ей верить. Однако я теперь вижу вас очень редко, вы никогда больше не заглядываете ко мне в мастерскую, и оттого, что вы далеки от меня, я теряюсь, когда слышу все те мерзости, какие о вас говорят, не знаю, что отвечать на них. Объясните мне, Дориан, почему такой человек, как герцог Бервикский, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в нее входите? Почему многие почтенные люди лондонского света не хотят бывать у вас в доме и не приглашают вас к себе? Вы были дружны с лордом Стэйвли. На прошлой неделе я встретился с ним на званом обеде... За столом кто-то упомянул о вас — речь шла о миниатюрах, которые вы одолжили для выставки Дадли. Услышав ваше имя, лорд Стэйвли с презрительной гримасой сказал, что вы, быть может, очень тонкий знаток искусства, но с таким человеком, как вы, нельзя знакомить ни одну чистую девушку, а порядочной женщине неприлично даже находиться с вами в одной комнате. Я напомнил ему, что вы — мой друг, и потребовал объяснений. И он дал их мне. Дал напрямик, при всех! Какой это был ужас! Почему дружба с вами губительна для молодых людей? Этот несчастный мальчик, гвардеец, что недавно покончил с собой, — ведь он был ваш близкий друг. С Генри Эштоном вы были неразлучны, — а он запятнал свое имя и вынужден был покинуть Англию... Почему так низко пал Адриан Синглтон? А единственный сын лорда Кента почему сбился с пути? Вчера я встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Сразу видно, что он убит стыдом и горем. А молодой герцог Пертский? Что за жизнь он ведет! Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться?

— Довольно, Бэзил! Не говорите о том, чего не знаете! — перебил Дориан Грей, кусая губы. В тоне его слышалось глубочайшее презрение. — Вы спрашиваете, почему Бервик выходит из комнаты, когда я вхожу в нее? Да потому, что *мне* о нем все известно, а вовсе не потому, что *ему* известно что-то обо мне. Как может быть чистой жизнь человека, в жилах которого течет *такая* кровь? Вы ставите мне в вину поведение Генри Эштона и молодого герцога Пертского. Я, что ли, привил Эштому его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке — при чем тут я? Адриан Синглтон подделал подпись своего знакомого на векселе — так и это тоже моя вина? Что же, я обязан надзирать за ним? Знаю я, как у нас в Англии любят сплетничать. Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью и, обжираясь за обеденным столом, шушукаются о так называемой «распущенности» знати, стараясь показать этим, что и они вращаются в высшем обществе и близко знакомы с теми, кого они чернят. В нашей стране достаточно человеку выдвинуться благодаря уму или другим качествам, как о нем начинают болтать злые языки. А те, кто щеголяет своей мнимой добродетелью, — они-то сами как ведут себя? Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров.

— Ах, Дориан, не в этом дело! — горячо возразил Холлуорд. — Знаю, что в Англии у нас не все благополучно, что общество наше никуда не годится. Оттого-то я и хочу, чтобы вы были на высоте. А вы оказались не на высоте. Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других. А ваши друзья, видимо, утратили всякое понятие о чести, о добре, о чистоте. Вы заразили их безумной жадностью наслаждений. И они скатились на дно. Это вы их туда столкнули! Да, вы их туда столкнули, и вы еще можете улыбаться как ни в чем не бывало, — вот как улыбаетесь сейчас... Я знаю и кое-что похуже. Вы с Гарри —

неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры, делать его предметом сплетен и насмешек.

— Довольно, Бэзил! Вы слишком много себе позволяете!

— Я должен сказать все, — и вы меня выслушаете. Да, выслушаете! До вашего знакомства с леди Гвендолен никто не смел сказать о ней худого слова, даже тень сплетни не касалась ее. А теперь?.. Разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с нею вместе в Парке? Даже ее детям не позволили жить с нею... И это еще не все. Много еще о вас рассказывают, — например, люди видели, как вы, крадучись, выходите на рассвете из грязных притонов, как переодетым пробираетесь тайком в самые отвратительные трущобы Лондона. Неужели это правда? Неужели это возможно? Когда я в первый раз услышал такие толки, я расхохотался. Но я их теперь слышу постоянно — и они меня приводят в ужас. А что творится в вашем загородном доме? Дориан, если бы вы знали, какие мерзости говорят о вас! Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника — что ж, пусть так! Помню, Гарри утверждал как-то, что каждый, кто любит поучать других, начинает с обещания, что это будет в первый и последний раз, а потом беспрестанно нарушает свое обещание. Да, я намерен отчитать вас. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Хочу, чтобы у вас была не только незапятнанная, но и хорошая репутация. Чтобы вы перестали водиться со всякой мразью. Нечего пожимать плечами и притворяться равнодушным! Вы имеете на людей удивительное влияние, так пусть же оно будет не вредным, а благотворным. Про вас говорят, что вы развращаете всех, с кем близки, и, входя к человеку в дом, навлекаете на этот дом позор. Не знаю, верно это или нет, — как я могу это знать? — но так про вас говорят. И кое-чему из того, что я слышал, я не могу не верить. Лорд Глостер — мой старый университетский товарищ, мы были с ним очень дружны в Оксфорде. И он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь — ничего подобного я никогда не слышал. И она обвиняет вас. Я сказал Глостеру, что это невероятно, что я вас хорошо знаю и вы не способны на подобные гнусности. А действительно ли я вас знаю? Я уже задаю себе такой вопрос. Но, чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу...

— Увидеть мою душу! — повторил вполголоса Дориан Грей и встал с дивана, бледный от страха.

— Да, — сказал Холлуорд серьезно, с глубокой печалью в голосе. — Увидеть вашу душу. Но это может один только господь бог.

У Дориана вдруг вырвался горький смех.

— Можете и вы. Сегодня же вечером вы ее увидите собственными глазами! — крикнул он и рывком поднял со стола лампу. — Пойдемте. Ведь это ваших рук дело, так почему бы вам и не взглянуть на него? А после этого можете, если хотите, все поведать миру. Никто вам не поверит. Да если бы и поверили, так только еще больше восхищались бы мною. Я знаю наш век лучше, чем вы, хотя вы так утомительно много о нем болтаете. Идемте же! Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Сейчас вы увидите его воочию.

Какая-то дикая гордость звучала в каждом его слове. Он топал ногой капризно и дерзко, как мальчишка. Им овладела злобная радость при мысли, что теперь бремя его тайны с ним разделит другой, тот, кто написал этот портрет, виновный в его грехах и позоре, и этого человека всю жизнь будут теперь мучить отвратительные воспоминания о том, что он сделал.

— Да, — продолжал он, подходя ближе и пристально глядя в суровые глаза Холлуорда. — Я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только господь бог.

Холлуорд вздрогнул и отшатнулся.

— Это кощунство, Дориан, не смейте так говорить! Какие ужасные и бессмысленные слова!

— Вы так думаете? — Дориан снова рассмеялся.

— Конечно! А все, что я вам говорил сегодня, я сказал для вашего же блага. Вы знаете, что я ваш верный друг.

— Не трогайте меня! Договаривайте то, что еще имеете сказать.

Судорога боли пробежала по лицу художника. Одну минуту он стоял молча, весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какое он имеет право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва, — как он, должно быть, страдает! Холлуорд подошел к камину и долго смотрел на горящие поленья. Языки пламени метались среди белого, как иней, пепла.

— Я жду, Бэзил, — сказал Дориан, резко отчеканивая слова.

Художник обернулся.

— Мне осталось вам сказать вот что: вы должны ответить на мой вопрос. Если ответите, что все эти страшные обвинения ложны от начала до конца, — я вам поверю. Скажите это, Дориан! Разве вы не видите, какую муку я терплю? Боже мой! Я не хочу думать, что вы дурной, развратный, погибший человек!

Дориан Грей презрительно усмехнулся.

— Поднимитесь со мной наверх, Бэзил, — промолвил он спокойно. — Я веду дневник, в нем отражен каждый день моей жизни. Но этот дневник я никогда не выношу из той комнаты, где он пишется. Если вы пойдете со мной, я вам его покажу.

— Ладно, пойдемте, Дориан, раз вы этого хотите. Я уже все равно опоздал на поезд. Ну, не беда, поеду завтра. Но не заставляйте меня сегодня читать этот дневник. Мне нужен только прямой ответ на мой вопрос.

— Вы его получите наверху. Здесь это невозможно. И вам не придется долго читать.

Глава XIII

Дориан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице, а Бэзил Холлуорд шел за ним. Оба ступали осторожно, как люди всегда ходят ночью, инстинктивно стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От порыва ветра где-то в окнах задребезжали стекла.

На верхней площадке Дориан поставил лампу на пол, и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину.

— Так вы непременно хотите узнать правду, Бэзил? — спросил он, понизив голос.

— Да.

— Отлично. — Дориан улыбнулся и добавил уже другим, жестким тоном: — Вы — единственный человек, имеющий право знать обо мне все. Вы и не подозреваете, Бэзил, какую большую роль сыграли в моей жизни.

Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом, от струи воздуха огонь в лампе вспыхнул на миг густо-оранжевым светом. Дориан дрожал.

— Закройте дверь! — шепотом сказал он Холлуорду, ставя лампу на стол.

Холлуорд в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не жил. Вылинявший фламандский гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да еще стол и стул — вот и все, что в ней находилось. Пока Дориан зажигал огарок свечи на каминной полке, Холлуорд успел заметить, что все здесь покрыто густой пылью, а ковер дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени.

— Значит, вы полагаете, Бэзил, что один только бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу. В голосе его звучала холодная горечь.

— Вы сошли с ума, Дориан. Или ломаете комедию? — буркнул Холлуорд, нахмурившись.

— Не хотите? Ну, так я сам это сделаю. — Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол.

Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо,

насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана! Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы. Осоловелые глаза сохранили свою чудесную синеву, и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи... Да, это Дориан. Но кто же написал его таким? Бэзил Холлуорд как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной, но на Бэзила напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись, выведенная кинноварью, длинными красными буквами.

Но этот портрет — мерзкая карикатура, подлое, бессовестное издевательство! Никогда он, Холлуорд, этого не писал...

И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал — и в то же мгновение почувствовал, что кровь словно заледенела в его жилах. Его картина! Что же это значит? Почему она так страшно изменилась?

Холлуорд обернулся к Дориану и посмотрел на него как безумный. Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, и он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу — лоб был влажен от липкого пота.

А Дориан стоял, прислонясь к каминной полке, и наблюдал за ним с тем сосредоточенным выражением, какое бывает у людей, увлеченных игрой великого артиста. Ни горя, ни радости не выражало его лицо — только напряженный интерес зрителя. И, пожалуй, во взгляде мелькала искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и нюхал его или делал вид, что нюхает.

— Что же это? — вскрикнул Холлуорд и сам не узнал своего голоса — так резко и странно он прозвучал.

— Много лет назад, когда я был еще почти мальчик, — сказал Дориан Грей, смяв цветок в руке, — мы встретились, и вы тогда льстили мне, вы научили меня гордиться моей красотой. Потом вы меня познакомили с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар — молодость, а вы написали с меня портрет, который открыл мне великую силу красоты. И в миг безумия, — я и сейчас еще не знаю, сожалеть мне об этом или нет, — я высказал желание... или, пожалуй, это была молитва...

— Помню! Ох, как хорошо я это помню! Но не может быть... Нет, это ваша фантазия. Портрет стоит в сырой комнате, и в полотно проникла плесень. Или, может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество... Да, да! А то, что вы вообразили, невозможно.

— Ах, разве есть в мире что-нибудь невозможное? — пробормотал Дориан, подойдя к окну и припав лбом к холодному запотевшему стеклу.

— Вы же говорили мне, что уничтожили портрет!

— Это неправда. Он уничтожил меня.

— Не могу поверить, что это моя картина.

— А разве вы не узнаете в ней свой идеал? — спросил Дориан с горечью.

— Мой идеал, как вы это называете...

— Нет, это вы меня так называли!

— Так что же? Тут не было ничего дурного, и я не стыжусь этого. Я видел в вас идеал, какого никогда больше не встречу в жизни. А это — лицо сатира.

— Это — лицо моей души.

— Боже, чему я поклонялся! У него глаза дьявола!..

— Каждый из нас носит в себе и ад и небо, Бэзил! — воскликнул Дориан в бурном порыве отчаяния.

Холлуорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него.

— Так вот что вы сделали со своей жизнью! Боже, если это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают ваши враги!

Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было нетронутым, осталось таким, каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри. Под влиянием какой-то неестественно напряженной скрытой жизни портрета проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле.

Рука Холлуорда так тряслась, что свеча выпала из подсвечника и потрескивала на полу. Он потушил ее каблуком и, тяжело опустившись на расшатанный стул, стоявший у стола, закрыл лицо руками.

— Дориан, Дориан, какой урок, какой страшный урок!

Ответа не было, от окна донеслись только рыдания Дориана.

— Молитесь, Дориан, молитесь! Как это нас учили молиться в детстве? «Не введи нас во искушение... Отпусти нам грехи наши... Очисти нас от скверны...» Помолитесь вместе! Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас — и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны.

Дориан медленно обернулся к Холлуорду и посмотрел на него полными слез глазами.

— Поздно молиться, Бэзил, — с трудом выговорил он.

— Нет, никогда не поздно, Дориан. Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы... Кажется, в Писании где-то сказано: «Хотя бы грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми как снег».

— Теперь это для меня уже пустые слова.

— Молчите, не надо так говорить! Вы и без того достаточно нагрешили в жизни. О господи, разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам?

Дориан взглянул на портрет — и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Бэзила Холлуорда, словно внушенная тем Дорианом на портрете, нашептанная его усмевающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола, так, как никогда никого в жизни.

Он блуждающим взглядом окинул комнату. На раскрашенной крышке стоявшего неподалеку сундука что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что это нож, он сам принес его сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку, и позабыл унести.

Обходя стол, Дориан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной Холлуорда, он схватил нож и повернулся. Холлуорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дориан подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Бэзила к столу, стал наносить удар за ударом.

Раздался глухой стон и ужасный хрип человека, захлебывающегося кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые вперед руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дориан еще дважды всадил нож... Холлуорд больше не шевелился. Что-то капало на пол. Дориан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож и прислушался.

Нигде ни звука, только шелест капель, падающих на вытертый ковер. Дориан открыл дверь и вышел на площадку. В доме царила глубокая тишина. Видно, все спали. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила, и смотрел вниз, пытаясь что-нибудь различить в черном колодце мрака. Потом вынул ключ из замка и, вернувшись в комнату, запер дверь изнутри.

Мертвец по-прежнему сидел, согнувшись и упав головой на стол; его неестественно вытянутые руки казались очень длинными. Если бы не красная рваная рана на затылке и медленно разливавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто заснул.

Как быстро все свершилось! Дориан был странно спокоен. Он открыл окно, вышел на балкон. Ветер разогнал туман, и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу, на улице, Дориан увидел полисмена, который обходил

участок, направляя длинный луч своего фонаря на двери спящих домов. На углу мелькнул и скрылся красный свет проезжавшего кеба. Какая-то женщина, пошатываясь, медленно брела вдоль решетки сквера, и ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядывалась, а раз даже запела хриплым голосом, и тогда полисмен, подойдя, что-то сказал ей. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше.

Налетел резкий ветер, газовые фонари на площади замигали синим пламенем, а голые деревья закачали черными, как чугун, сучьями. Дрожа от холода, Дориан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно.

Подойдя к двери на лестницу, он отпер ее. На убитого он даже не взглянул. Он инстинктивно понимал, что главное теперь — не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, виновник всех его несчастий, ушел из его жизни. Вот и все.

Выходя, Дориан вспомнил о лампе. Это была довольно редкая вещь мавританской работы, из темного серебра, инкрустированная арабесками вороненой стали и усаженная крупной бирюзой. Ее исчезновение из библиотеки могло быть замечено лакеем, вызвать вопросы... Дориан на миг остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на труп. Как он неподвижен! Как страшна мертвенная белизна его длинных рук! Он напоминал жуткие восковые фигуры паноптикума.

Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, пошел вниз. По временам ступени под его ногами скрипели, словно стонали от боли. Тогда он замирал на месте и выжидал... Нет, в доме все спокойно, это только отзвук его шагов.

Когда он вошел в библиотеку, ему бросились в глаза саквояж и пальто в углу. Их надо было куда-нибудь спрятать. Он открыл потайной шкаф в стене, где лежал костюм, в который он переодевался для своих ночных походов, и спрятал туда вещи Бэзила, подумав, что их потом можно будет просто сжечь. Затем посмотрел на часы. Было сорок минут второго.

Он сел и принялся размышлять. Каждый год, чуть не каждый месяц в Англии вешают людей за такие преступления, какое он только что совершил. В воздухе словно носится заразительная мания убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле... Однако какие против него улики? Бэзил Холлуорд ушел из его дома в одиннадцать часов. Никто не видел, как он вернулся: почти вся прислуга сейчас в Селби, а камердинер спит...

Париж!.. Да, да, все будут считать, что Бэзил уехал в Париж двенадцатичасовым поездом, как он и намеревался. Он вел замкнутый образ жизни, был до странности скрытен, так что пройдут месяцы, прежде чем его хватятся и возникнут какие-либо подозрения. Месяцы! А следы можно будет уничтожить гораздо раньше.

Вдруг его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь постоял, прислушиваясь к медленным и тяжелым шагам полисмена на улице и следя за отблесками его фонаря в окне. Притаив дыхание, он ждал.

Через несколько минут он отодвинул засов и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Потом начал звонить.

Через пять минут появился заспанный и полуодетый лакей.

— Извините, Фрэнсис, что разбудил вас, — сказал Дориан, входя, — я забыл дома ключ. Который час?

— Десять минут третьего, сэр, — ответил слуга, сонно щурясь на часы.

— Третьего? Ох, как поздно! Завтра разбудите меня в девять, у меня с утра есть дело.

— Слушаю, сэр.

— Заходил вечером кто-нибудь?

— Мистер Холлуорд был, сэр. Ждал вас до одиннадцати, потом ушел. Он спешил на поезд.

— Вот как? Жаль, что он меня не застал! Он что-нибудь велел передать?

— Ничего, сэр. Сказал только, что напишет вам из Парижа, если не увидит еще сегодня в клубе.

— Ладно, Фрэнсис. Не забудьте же разбудить меня в девять.

— Не забуду, сэ.

Слуга зашагал по коридору, шлепая ночными туфлями. Дориан бросил пальто и шляпу на столик и пошел к себе в библиотеку. Минут пятнадцать он шагал из угла в угол и размышлял о чем-то, кусая губы. Потом снял с полки Синюю книгу и стал ее перелистывать. Ага, нашел! «Алан Кэмпбел — Мэйфер, Хертфорд-стрит, 152». Да, вот кто ему нужен сейчас!

Глава XIV

На другое утро слуга в девять часов вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставни. Дориан спал мирным сном, лежа на правом боку и положив ладонь под щеку. Спал, как ребенок, уставший от игр или занятий.

Чтобы разбудить его, слуге пришлось дважды потрогать за плечо, и наконец Дориан открыл глаза с легкой улыбкой, словно еще не совсем очнувшись от какого-то приятного сна. Однако ему ровно ничего не снилось этой ночью. Сон его не тревожили никакие светлые или мрачные видения. А улыбался он потому, что молодость весела без причин, — в этом ее главное очарование.

Дориан повернулся и, опершись на локоть, стал маленькими глотками пить шоколад. В окна смотрело ласковое ноябрьское солнце. Небо было ясно, и в воздухе чувствовалась живительная теплота, почти как в мае.

Постепенно события прошедшей ночи бесшумной и кровавой чередой с ужасающей отчетливостью стали проходить в мозгу Дориана. Он с дрожью вспоминал все, что пережито, и на мгновение снова проснулась в нем та необъяснимая ненависть к Бэзилу Холлуорду, которая заставила его схватиться за нож. Он даже похолодел от бешенства.

А ведь мертвец все еще сидит там наверху! И теперь, при ярком солнечном свете. Это ужасно! Такое отвратительное зрелище терпимо еще под покровом ночи, но не днем...

Дориан почувствовал, что заболит или сойдет с ума, если еще долго будет раздумывать об этом. Есть грехи, которые вспоминать сладостнее, чем совершать, — своеобразные победы, которые утоляют не столько страсть, сколько гордость, и тешат душу сильнее, чем они когда-либо тешили и способны тешить чувственность. Но этот грех был не таков, его надо было изгнать из памяти, усыпить маковыми зернами, задушить поскорее, раньше, чем он задушит того, кто его совершил.

Часы пробили половину десятого. Дориан провел рукой по лбу и поспешно встал с постели. Он оделся даже тщательнее обычного, с особой заботливостью выбрал галстук и булавку к нему, несколько раз переменял кольца. За завтраком сидел долго, отдавая честь разнообразным блюдам и беседуя с лакеем относительно новых ливрей, которые намеревался заказать для всей прислуги в Селби. Просмотрел утреннюю почту. Некоторые письма он читал с улыбкой, три его раздосадовали, а одно он перечел несколько раз со скучающей и недовольной миной, потом разорвал. «Убийственная вещь эта женская память!» — вспомнились ему слова лорда Генри.

Напившись черного кофе, он не спеша утер рот салфеткой, жестом остановил выходявшего из комнаты лакея и, сев за письменный стол, написал два письма. Одно сунул в карман, другое отдал лакею.

— Снесите это, Фрэнсис, на Хертфорд-стрит, сто пятьдесят два. А если мистера Кэмпбела нет в Лондоне, узнайте его адрес.

Оставшись один, Дориан закурил папиросу и в ожидании принялся рисовать на клочке бумаги сперва цветы и всякие архитектурные орнаменты, потом человеческие лица. Вдруг он заметил, что все лица, которые он рисовал, имели удивительное сходство с Бэзилем Холлуордом. Он нахмурился, бросил рисовать, и, подойдя к шкафу, взял с полки первую попавшуюся книгу. Он твердо решил не думать о том, что случилось, пока в этом нет крайней необходимости.

Дориан прилег на кушетку и раскрыл книгу. Это были «Эмали и камеи» Готье в

роскошном издании Шарпантье на японской бумаге с гравюрами Жакмара. На переплете из лимонно-желтой кожи был вытиснен узор — золотая решетка и нарисованные пунктиром гранаты. Книгу эту подарил ему Адриан Синглтон. Перелистывая ее, Дориан остановил взгляд на поэме о руке Ласнера, «холодной желтой руке, с которой еще не смыт след преступления, руке с рыжим пушком и пальцами фавна». Дориан с невольной дрожью глянул на свои тонкие белые пальцы — и продолжал читать, пока не дошел до прелестных строф о Венеции:

*В волненье легкого размера
Лагун я вижу зеркала,
Где Адриатики Венера
Смеется, розово-бела.*

*Соборы средь морских безлюдий
В течение музыкальных фраз
Поднялись, как девичьи груди,
Когда волнует их экстаз.*

*Челнок пристал с колонной рядом,
Закинув за нее канат.
Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.
(Перевод Н. Гумилева.)*

Какие чудные стихи! Читаешь их, и кажется, будто плывешь по зеленым водам розово-жемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и выющимися на ветру занавесками. Даже самые строки в этой книге напоминали Дориану те бирюзовые полосы, что тянутся по воде за лодкой, когда вы плывете на Лидо. Неожиданные вспышки красок в стихах поэта приводили на память птиц с опалово-радужными шейками, что летают вокруг высокой, золотистой, как мед, Кампаниллы или с величавой грацией прохаживаются под пыльными сводами сумрачных аркад... Откинув голову на подушки и полужакрыв глаза, Дориан твердил про себя:

*Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.*

Вся Венеция была в этих двух строчках. Ему вспомнилась осень, проведенная в этом городе, и чудесная любовь, толкавшая его на всякие безумства. Романтика вездесуща. Но Венеция, как и Оксфорд, создает ей подходящий фон, а для подлинной романтики фон — это все или почти все...

В Венеции тогда некоторое время жил и Бэзил. Он был без ума от Тинторетто. Бедный Бэзил! Какая ужасная смерть!

Дориан вздохнул и, чтобы отвлечься от этих мыслей, снова принялся перечитывать стихи Готье. Он читал о маленьком кафе в Смирне, где в окна то и дело влетают ласточки, где сидят хаджи, перебирая янтарные четки, где купцы в чалмах курят длинные трубки с кисточками и ведут между собой степенную и важную беседу. Читал об Обелиске на площади Согласия, который в своем одиноком изгнании льет гранитные слезы, тоскуя по солнцу и знойному, покрытому лотосами Нилу, стремясь туда, в страну сфинксов, где живут розовые ибисы и белые грифы с золочеными когтями, где крокодилы с маленькими берилловыми глазками барахтаются в зеленом дымящемся иле... Потом Дориан задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из зацелованного мрамора, поют о необыкновенной статуе, которую Готье сравнивает с голосом контральто и называет дивным чудовищем,

monstre charmant — об изваянии, которое покоится в порфировом зале Лувра.

Но вскоре книга выпала из рук Дориана. Им овладело беспокойство, потом приступ дикого страха. Что, если Алан Кэмпбел уехал из Англии? До его возвращения может пройти много дней. Или вдруг Алан не захочет прийти к нему в дом? Что тогда делать? Ведь каждая минута дорога!

Пять лет назад они с Аланом были очень дружны, почти неразлучны. Потом дружба их внезапно оборвалась. И когда они встречались в свете, улыбался только Дориан Грей, Алан Кэмпбел — никогда.

Кэмпбел был высокоодаренный молодой человек, по ничему не понимал в изобразительном искусстве, и если немного научился понимать красоты поэзии, то этим был целиком обязан Дориану. Единственной страстью Алана была наука. В Кембридже он проводил много времени в лабораториях и с отличием окончил курс естественных наук. Он и теперь увлекался химией, у него была собственная лаборатория, где он просиживал целые дни, к великому неудовольствию матери, которая жаждала для сына парламентской карьеры, о химии же имела представление весьма смутное и полагала, что химик — это что-то вроде аптекаря.

Впрочем, химия не мешала Алану быть превосходным музыкантом. Он играл на скрипке и на рояле лучше, чем большинство дилетантов. Музыка-то и сблизила его с Дорианом Греем, музыка и то неизъяснимое обаяние, которое Дориан умел пускать в ход, когда хотел, а часто даже бессознательно. Они впервые встретились у леди Беркшир однажды вечером, когда там играл Рубинштейн, и потом постоянно бывали вместе в опере и повсюду, где можно было услышать хорошую музыку.

Полтора года длилась эта дружба. Кэмпбела постоянно можно было встретить то в Селби, то в доме на Гровенор-сквер. Он, как и многие другие, видел в Дориане Грее воплощение всего прекрасного и замечательного в жизни. О какой-либо ссоре между Дорианом и Аланом не слыхал никто. Но вдруг люди стали замечать, что они при встречах почти не разговаривают друг с другом и Кэмпбел всегда уезжает раньше времени с вечеров, на которых появляется Дориан Грей. Потом Алан сильно переменялся, по временам впадал в странную меланхолию и, казалось, разлюбил музыку: на концерты не ходил и сам никогда не соглашался играть, оправдываясь тем, что научная работа не оставляет ему времени для занятий музыкой. Этому легко было поверить: Алан с каждым днем все больше увлекался биологией, и его фамилия уже несколько раз упоминалась в научных журналах в связи с его интересными опытами.

Этого-то человека и ожидал Дориан Грей, каждую секунду поглядывая на часы. Время шло, и он все сильнее волновался. Наконец встал и начал ходить по комнате, напоминая красивого зверя, который мечется в клетке. Он ходил большими бесшумными шагами. Руки его были холодны, как лед.

Ожидание становилось невыносимым. Время не шло, а ползло, как будто у него были свинцовые ноги, а Дориан чувствовал себя, как человек, которого бешеный вихрь мчит на край черной бездны. Он знал, что его там ждет, он это ясно видел и, содрогаясь, зажимал холодными и влажными руками пылающие веки, словно хотел вдавить глаза в череп и лишиться зрения даже и мозг. Но тщетно. Мозг питался своими запасами и работал усиленно, фантазия, изощренная страхом, корчилась и металась, как живое существо от сильной боли, плясала подобно уродливой марионетке на подмостках, скалила зубы из-под меняющейся маски.

Затем Время внезапно остановилось. Да, это слепое медлительное существо уже перестало и ползти. И как только замерло Время, страшные мысли стремительно побежали вперед, вытащили жуткое будущее из его могилы и показали Дориану. А он смотрел, смотрел во все глаза, окаменев от ужаса.

Наконец дверь отворилась, и вошел его слуга. Дориан уставился на него мутными глазами.

— Мистер Кэмпбел, сэр, — доложил слуга. Вздых облегчения сорвался с запекшихся

губ Дориана, и кровь снова прилила к лицу.

— Просите сейчас же, Фрэнсис!

Дориан уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал. Слуга с поклоном вышел. Через минуту появился Алан Кэмпбел, суровый и очень бледный. Бледность лица еще резче подчеркивали его черные как смоль волосы и темные брови.

— Алан, спасибо вам, что пришли. Вы очень добры.

— Грей, я дал себе слово никогда больше не переступать порог вашего дома. Но вы написали, что дело идет о жизни или смерти...

Алан говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном, испытующем взгляде, обращенном на Дориана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах и как будто не заметил протянутой руки Дориана.

— Да, Алан, дело идет о жизни или смерти — и не одного человека. Садитесь.

Кэмпбел сел у стола. Дориан — напротив. Глаза их встретились. Во взгляде Дориана светилось глубокое сожаление: он понимал, как ужасно то, что он собирается сделать.

После напряженной паузы он наклонился через стол и сказал очень тихо, стараясь по лицу Кэмпбела угадать, какое впечатление производят его слова:

— Алан, наверху, в запертой комнате, куда, кроме меня, никто не может войти, сидит у стола мертвец. Он умер десять часов тому назад... Сидите спокойно и не смотрите на меня так! Кто этот человек, отчего и как он умер — это вас не касается. Вам только придется сделать вот что...

— Замолчите, Грей! Я ничего не хочу больше слышать. Правду вы сказали или нет, — мне это безразлично. Я решительно отказываюсь иметь с вами дело. Храните про себя свои отвратительные тайны, они меня больше не интересуют.

— Алан, эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, но ничего не поделаешь. Только вы можете меня спасти. Я вынужден посвятить вас в это дело — у меня нет иного выхода, Алан! Вы человек ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы должны уничтожить то, что заперто наверху, — так уничтожить, чтобы следа от него не осталось. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Несколько месяцев его отсутствие никого не будет удивлять. А когда его хватятся, — нужно, чтобы здесь не осталось и следа от него. Вы, Алан, и только вы должны превратить его и все, что на нем, в горсточку пепла, которую можно развеять по ветру.

— Вы с ума сошли, Дориан!

— Ага, наконец-то вы назвали меня «Дориан»! Я этого только и ждал.

— Повторяю — вы сумасшедший, иначе не сделали бы мне этого страшного признания. Уж не воображаете ли вы, что я хоть пальцем шевельну для вас? Не желаю я вмешиваться в это! Неужели вы думаете, что я ради вас соглашусь погубить свою репутацию?.. Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях!

— Алан, это было самоубийство.

— В таком случае я рад за вас. Но кто его довел до самоубийства? Вы, конечно?

— Так вы все-таки отказываетесь мне помочь?

— Конечно, отказываюсь. Не хочу иметь с вами ничего общего. Пусть вы будете обещаны — мне все равно. Поделом вам! Я даже буду рад вашему позору. Как вы смеете просить меня, особенно меня, впутаться в такое ужасное дело? Я думал, что вы лучше знаете людей. Ваш друг, лорд Генри Уоттон, многому научил вас, но психологии он вас, видно, плохо учил. Я палец о палец для вас не ударю. Ничто меня не заставит вам помочь. Вы обратились не по адресу, Грей. Обращайтесь за помощью к своим друзьям, но не ко мне!

— Алан, это убийство. Я убил его. Вы не знаете, сколько я выстрадал из-за него. В том, что жизнь моя сложилась так, а не иначе, этот человек виноват больше, чем бедный Гарри. Может, он и не хотел этого, но так вышло.

— Убийство?! Боже мой, так вы уже и до этого дошли, Дориан? Я не донесу на вас — не мое это дело. Но вас все равно, наверное, арестуют. Всякий преступник непременно делает какую-нибудь оплошность и выдает себя. Я же, во всяком случае, не стану в это

вмешиваться.

— Вы должны вмешаться. Пойдите, пойдите, послушайте меня, послушайте, Алан. Я вас прошу только проделать научный опыт. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жестью столе с желобами для стока крови, он для вас был бы просто интересным объектом для опытов. Вы занялись бы им, не поморщившись. Вам и в голову бы не пришло, что вы делаете что-то дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете похвальную любознательность, и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. И, уж конечно, уничтожить труп гораздо менее противно, чем делать то, что вы привыкли делать в секционных залах. Поймите, этот труп — единственная улика против меня. Если его обнаружат, я погиб. А его, несомненно, обнаружат, если вы меня не спасете.

— Вы забыли, что я вам сказал? Я не имею ни малейшего желания спасти вас. Вся эта история меня совершенно не касается.

— Алан, умоляю вас! Подумайте, в каком я положении! Вот только что перед вашим приходом я умирал от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх... Нет, нет, я не то хотел сказать!.. Взгляните на это дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы же не спрашиваете, откуда те трупы, которые служат вам для опытов? Так не спрашивайте и сейчас ни о чем. Я и так уже сказал вам больше, чем следовало. Я вас прошу сделать это. Мы были друзьями, Алан!

— О прошлом вы не поминайте, Дориан. Оно умерло.

— Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, нагнув голову и вытянув руки. Алан, Алан! Если вы не придете мне на помощь, я погиб. Меня повесят, Алан! Понимаете? Меня повесят за то, что я сделал...

— Незачем продолжать этот разговор. Я решительно отказываюсь вам помогать. Вы, видно, помешались от страха, иначе не посмели бы обратиться ко мне с такой просьбой.

— Так вы не согласны?

— Нет.

— Алан, я вас умоляю!

— Это бесполезно.

Снова сожаление мелькнуло в глазах Дориана. Он протянул руку и, взяв со стола листок бумаги, что-то написал на нем. Дважды перечел написанное, старательно сложил листок и бросил его через стол Алану. Потом встал и отошел к окну. Кэмпбел удивленно посмотрел на него и развернул записку. Читая ее, он побледнел как смерть и съежился на стуле. Он ощутил ужасную слабость, а сердце билось, билось, словно в пустоте. Казалось, оно готово разорваться.

Прошло две-три минуты в тягостном молчании. Наконец Дориан обернулся и, подойдя к Алану, положил ему руку на плечо.

— Мне вас очень жаль, Алан, — сказал он шепотом, — но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к этому вынудили. Письмо уже написано — вот оно. Видите адрес? Если вы меня не выручите, я отошлю его. А что за этим последует, вы сами понимаете. Теперь вы не можете отказаться. Я долго пытался вас щадить — вы должны это признать. Ни один человек до сих пор не смел так говорить со мной — а если бы посмел, его бы уже не было на свете. Я все стерпел. Теперь моя очередь диктовать условия.

Кэмпбел закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит.

— Да, Алан, теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны. Ну, ну, не впадайте в истерику! Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь — и скорее приступайте к нему!

У Кэмпбела вырвался стон. Его бил озноб. Тиканье часов на камине словно разбивало время на отдельные атомы муки, один невыносимее другого. Голову Алана все туже и туже сжимал железный обруч — как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него.

Рука Дориана на его плече была тяжелее свинца, — казалось, сейчас она раздавит его. Это было невыносимо.

— Ну же, Алан, решайтесь скорее!

— Не могу, — машинально возразил Кэмпбел, точно эти слова могли изменить что-нибудь.

— Вы должны. У вас нет выбора. Не медлите!

Кэмпбел с минуту еще колебался. Потом спросил:

— В той комнате, наверху, есть камин?

— Да, газовый, с асбестом.

— Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории.

— Нет, Алан, я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, а мой лакей съездит к вам и привезет.

Кэмпбел нацарапал несколько строк, промакнул, а на конверте написал фамилию своего помощника. Дориан взял у него из рук записку и внимательно прочитал. Потом позвонил, отдал ее пришедшему на звонок слуге, наказав ему вернуться как можно скорее и все привезти.

Стук двери, захлопнувшейся за лакеем, заставил Кэмпбела нервно вздрогнуть. Встав из-за стола, он подошел к камину. Его трясло как в лихорадке. Минут двадцать он и Дориан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи да тиканье часов, отдававшееся в мозгу Алана, как стук молотка.

Куранты пробили час. Кэмпбел обернулся и, взглянув на Дориана, увидел, что глаза его полны слез. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то, взбесившее Алана.

— Вы подлец, гнусный подлец! — сказал он тихо.

— Не надо, Алан! Вы спасли мне жизнь.

— Вашу жизнь? Силы небесные, что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку и вот дошли до преступления. Не ради спасения вашей позорной жизни я сделаю то, чего вы от меня требуете.

— Ах, Алан. Дориан вздохнул. — Хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам.

Он сказал это, отвернувшись и глядя через окно в сад.

Кэмпбел ничего не ответил.

Минут через десять раздался стук в дверь, и вошел слуга, неся большой ящик красного дерева с химическими препаратами, длинный моток стальной и платиновой проволоки и две железных скобы очень странной формы.

— Оставить все здесь, сэр? — спросил он, обращаясь к Кэмпбелу.

— Да, — ответил за Кэмпбела Дориан. — И, к сожалению, Фрэнсис, мне придется дать вам еще одно поручение. Как зовут того садовода в Ричмонде, что поставляет нам в Селби орхидеи?

— Харден, сэр.

— Да, да, Харден. Так вот, надо сейчас же съездить к нему в Ричмонд и сказать, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых... нет, пожалуй, белых совсем не нужно. Погода сегодня отличная, а Ричмонд — прелестное местечко, иначе я не стал бы вас утруждать.

— Помилуйте, какой же это труд, сэр! Когда прикажете вернуться?

Дориан посмотрел на Кэмпбела.

— Сколько времени займет ваш опыт, Алан? — спросил он самым естественным и спокойным тоном. Видимо, присутствие третьего лица придавало ему смелости.

Кэмпбел нахмурился, прикусил губу.

— Часов пять, — ответил он.

— Значит, можете не возвращаться до половины восьмого, Фрэнсис... А впрочем, знаете что: приготовьте перед уходом все, что мне нужно надеть, и тогда я могу отпустить вас на весь вечер. Я обедаю не дома, так что вы мне не нужны.

— Благодарю вас, сэр, — сказал лакей и вышел.

— Ну, Алан, теперь за дело, нельзя терять ни минуты. Ого, какой тяжелый ящик! Я понесу его, а вы — все остальное.

Дориан говорил быстро и повелительным топом. Кэмпбел покорился. Они вместе вышли в переднюю. На верхней площадке Дориан достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту, глаза его тревожно забегали, руки тряслись.

— Алан, я, кажется, не в силах туда войти, — пробормотал он.

— Так не входите. Вы мне вовсе не нужны, — холодно отозвался Кэмпбел.

Дориан приоткрыл дверь, и ему бросилось в глаза освещенное солнцем ухмыляющееся лицо портрета. На полу валялось разорванное покрывало. Он вспомнил, что прошлой ночью, впервые за все эти годы, забыл укрыть портрет, и уже хотел было броситься к нему, поскорее его завесить, но вдруг в ужасе отпрянул.

Что это за отвратительная влага, красная и блестящая, выступила на одной руке портрета, как будто полотно покрылось кровавым потом? Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигура, которая, как он знал, сидит тут же в комнате, навалившись на стол, — ее уродливая тень на залитом кровью ковре свидетельствовала, что она на том же месте, где была вчера.

Дориан тяжело перевел дух и, шире открыв дверь, быстро вошел в комнату. Опустив глаза и отворачиваясь от мертвеца, в твердой решимости ни разу не взглянуть на него, он нагнулся, подобрал пурпурно-золотое покрывало и набросил его на портрет.

Боясь оглянуться, он стоял и смотрел неподвижно на сложный узор вышитой ткани. Он слышал, как Кэмпбел внес тяжелый ящик, потом все остальные вещи, нужные ему. И Дориан неожиданно спросил себя, был ли Алан знаком с Бэзилем Холлуордом и, если да, то что они думали друг о друге?

— Теперь уходите, — произнес за его спиной суровый голос. Он повернулся и поспешно вышел. Успел только заметить, что мертвец теперь посажен прямо, прислонен к спинке стула, и Кэмпбел смотрит в его желтое, лоснящееся лицо. Сходя вниз, он услышал, как щелкнул ключ в замке.

Было уже гораздо позднее семи, когда Кэмпбел вернулся в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен.

— Я сделал то, чего вы требовали. А теперь прощайте навсегда. Больше я не хочу с вами встречаться.

— Вы спасли мне жизнь, Алан. Этого я никогда не забуду, — сказал Дориан просто.

Как только Кэмпбел ушел, Дориан побежал наверх. В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший у стола, исчез.

Глава XV

В тот же вечер, в половине девятого, Дориан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарборо, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь, нервы были взвинчены до крайности, но он поцеловал руку хозяйки дома с обычной своей непринужденной грацией. Пожалуй, спокойствие и непринужденность кажутся более всего естественными тогда, когда человек вынужден притворяться. И, конечно, никто из тех, кто видел Дориана Грея в этот вечер, ни за что бы не поверил, что он пережил трагедию, страшнее которой не бывает в наше время. Не могли эти тонкие, изящные пальцы сжимать разящий нож, эти улыбающиеся губы оскорблять бога и все, что священо для человека! Дориан и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. И бывали минуты, когда он, думая о своей двойной жизни, испытывал острое наслаждение.

В этот вечер у леди Нарборо гостей было немного — только те, кого она наспех успела созвать. Леди Нарборо была умная женщина, сохранившая, как говаривал лорд Генри, остатки поистине замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой

одного из наших послов, скучнейшего человека, а по смерти супруга похоронила его с подобающей пышностью в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку, выдала дочерей замуж за богатых, но довольно пожилых людей, и теперь на свободе наслаждалась французскими романами, французской кухней и французским остроумием, когда ей удавалось где-нибудь обнаружить его.

Дориан был одним из ее особенных любимцев, и в разговорах с ним она постоянно выражала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретила с ним, когда была еще молода. «Я уверена, что влюбилась бы в вас до безумия, мой милый, — говаривала она, — и ради вас забросила бы свой чепец через мельницу. Какое счастье, что вас тогда еще и на свете не было! Впрочем, в мое время дамские чепцы были так уродливы, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне не пришлось даже ни с кем пофлиртовать. И, конечно, больше всего в этом виноват был Нарборо. Он был ужасно близорук, а что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит?» В этот вечер в гостиной леди Нарборо было довольно скучно. К ней, — как она тихонько пояснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером, — совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей и, что всего хуже, привезла с собой своего супруга.

— Я считаю, что это очень неделикатно с ее стороны, — шепотом жаловалась леди Нарборо. — Правда, я тоже у них гощу каждое лето по возвращении из Гамбурга, — но ведь в моем возрасте необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И, кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они там ведут существование! Настоящие провинциалы! Встают чуть свет, потому что у них очень много дела, и ложатся рано, потому что им думать совершенно не о чем. Со времен королевы Елизаветы во всей округе не было ни одной скандальной истории, и им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними! Я вас посажу подле себя, и вы будете меня занимать.

Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось явно неинтересное. Двоих он видел в первый раз, а кроме них, здесь были Эрнест Хорроуден, бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаев лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья; леди Рэкстон, чересчур разряженная сорокасемилетняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна собой, что, к великому ее огорчению, никто не верил в ее безнравственное поведение; миссис Эрлин, дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как венецианка, и премило картавившая; дочь леди Нарборо, леди Элис Чэпмен, безвкусно одетая молодая женщина с типично английским незапоминающимся лицом; и муж ее, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить.

Дориан уже жалел, что приехал сюда, но вдруг леди Нарборо взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшие на камине, и воскликнула:

— Генри Уоттон непозволительно опаздывает! А ведь я нарочно посылала к нему сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти.

Известие, что придет лорд Генри, несколько утешило Дориана, и, когда дверь открылась и он услышал протяжный и мелодичный голос, придававший очарование неискреннему извинению, его скуку и досаду как рукой сняло.

Но за обедом он ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутыми. Леди Нарборо все время бранила его за то, что он «обижает бедного Адольфа, который придумал меню специально по его вкусу», а лорд Генри издали поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал Дориану шампанского, и Дориан выпивал его залпом, — жажда мучила его все сильнее.

— Дориан, — сказал наконец лорд Генри, когда подали заливное из дичи. — Что с вами сегодня? Вы на себя не похожи.

— Влюблен, наверное! — воскликнула леди Нарборо. И боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать!

— Дорогая леди Нарборо, — сказал Дориан с улыбкой, — я не влюблен ни в кого вот уже целую неделю — с тех пор как госпожа де Феррол уехала из Лондона.

— Как это вы, мужчины, можете увлекаться такой женщиной! Это для меня загадка, право, — заметила старая дама.

— Мы ее любим за то, леди Нарборо, что она помнит вас маленькой девочкой, — вмешался лорд Генри, — Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами.

— Она вовсе не помнит моих коротких платьиц, лорд Генри. Зато я помню очень хорошо, какой она была тридцать лет назад, когда мы встретились в Вене, и как она тогда была декольтирована.

— Она и теперь появляется в обществе не менее декольтированной, — отозвался лорд Генри, беря длинными пальцами маслину. И когда разоденется, то напоминает роскошное издание плохого французского романа. Но она занятная женщина, от нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза. А какое у нее любвеобильное сердце, какая склонность к семейной жизни! Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые.

— Гарри, как вам не стыдно! — воскликнул Дориан.

— В высшей степени поэтическое объяснение! — воскликнула леди Нарборо со смехом. — Вы говорите — третий муж? Неужели же Феррол у нее четвертый?

— Именно так, леди Нарборо!

— Ни за что не поверю.

— Ну, спросите у мистера Грея, ее близкого друга.

— Мистер Грей, это правда?

— По крайней мере, так она утверждает, леди Нарборо. Я спросил у нее, не балзамирует ли она сердца своих мужей и не носит ли их на поясе, как Маргарита Наваррская. Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца.

— Четыре мужа! Вот уж можно сказать — *trop de zèle*!¹⁷

— Вернее *trop d'audace*!¹⁸ Я так и сказал ей, — отозвался Дориан.

— О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой! А что собой представляет этот Феррол? Я его не знаю.

— Мужей очень красивых женщин я отношу к разряду преступников, — объявил лорд Генри, отхлебнув глоток вина. Леди Нарборо ударила его веером.

— Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком.

— Неужели? — спросил лорд Генри, поднимая брови. — Вероятно, вы имеете в виду тот свет? С этим светом я в прекрасных отношениях.

— Нет, все, кого я только знаю, говорят, что вы опасный человек, — настаивала леди Нарборо, качая головой. Лорд Генри на минуту стал серьезен.

— Просто возмутительно, — сказал он, — что в наше время принято за спиной у человека говорить о нем вещи, которые... безусловно верны.

— Честное слово, он неисправим! — воскликнул Дориан, наклоняясь через стол.

— Надеюсь, что это так, — воскликнула, смеясь, леди Нарборо. — И послушайте — раз все вы до смешного восторгаетесь мадам де Феррол, придется, видно, и мне выйти замуж второй раз, чтобы не отстать от моды.

— Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо, — возразил лорд Генри. —

¹⁷ Слишком большое рвение (франц.).

¹⁸ Слишком большая смелость (франц.).

Потому что вы были счастливы в браке. Женщина выходит замуж вторично только в том случае, если первый муж был ей противен. А мужчина женится опять только потому, что очень любил первую жену. Женщины ищут в браке счастья, мужчины ставят свое на карту.

— Нарборо был не так уж безупречен, — заметила старая леди.

— Если бы он был совершенством, вы бы его не любили, дорогая. Женщины любят нас за наши недостатки. Если этих недостатков изрядное количество, они готовы все нам простить, даже ум... Боюсь, что за такие речи вы перестанете приглашать меня к обеду, леди Нарборо, но что поделаешь — это истинная правда.

— Конечно, это верно, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас, мужчин, за ваши недостатки, что было бы с вами? Ни одному мужчине не удалось бы жениться, все вы остались бы несчастными холостяками. Правда, и это не заставило бы вас перемениться. Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые — как женатые.

— *Fin de siecle!*¹⁹ — проронил лорд Генри.

— *Fin du globe!*²⁰ — подхватила леди Нарборо.

— Если бы поскорее *fin du globe!* — вздохнул Дориан. — Жизнь — сплошное разочарование.

— Ах, дружок, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь! — воскликнула леди Нарборо, натягивая перчатки. — Когда человек так говорит, знайте, что жизнь исчерпала его. Лорд Генри — человек безнравственный, а я порой жалею, что была добродетельна. Но вы — другое дело. Вы не можете быть дурным — это видно по вашему лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться?

— Я ему всегда это твержу, леди Нарборо, — сказал лорд Генри с поклоном.

— Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю Дебретта и составлю список всех невест, достойных мистера Грея.

— И укажете их возраст, леди Нарборо? — спросил Дориан.

— Обязательно укажу, — конечно, с некоторыми поправками. Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается «Морнинг пост», подобающий брак и чтобы вы и жена были счастливы.

— Сколько ерунды у нас говорится о счастливых браках! — возмутился лорд Генри. — Мужчина может быть счастлив с какой угодно женщиной, если только он ее не любит.

— Какой же вы циник! — воскликнула леди Нарборо, отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Рэкстон. — Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Эндрью. И скажите заранее, кого вам хотелось бы встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию.

— Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым, — ответил лорд Генри. — Только, пожалуйста, тогда вам удастся собрать исключительно дамское общество.

— Боюсь, что да! — со смехом согласилась леди Нарборо.

Она встала из-за стола и обратилась к леди Рэкстон:

— Ради бога, извините, моя дорогая, я не видела, что вы еще не закурили папиросу.

— Не беда, леди Нарборо, я слишком много курю. Я и то уже решила быть умереннее.

— Ради бога, не надо, леди Рэкстон, — сказал лорд Генри. — Воздержание — в высшей степени пагубная привычка. Умеренность — это все равно что обыкновенный скучный обед, а неумеренность — праздничный пир.

Леди Рэкстон с любопытством посмотрела на него.

— Непременно приезжайте как-нибудь ко мне, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория очень увлекательна, — сказала она, выплывая из столовой.

¹⁹ Конец века (франц.).

²⁰ Конец света (франц.).

— Ну-с, мы уходим наверх, а вы тоже не занимайтесь тут слишком долго политикой и сплетнями, приходите поскорее, иначе мы там все перессоримся, — крикнула леди Нарборо с порога. Все засмеялись. Когда дамы вышли, мистер Чэпмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дориан Грей тоже пересел — поближе к лорду Генри. Мистер Чэпмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер», столь страшное для англичанина, слышалось по временам среди взрывов смеха. Мистер Чэпмен поднимал британский флаг на башнях Мысли и доказывал, что наследственная тупость британской нации (этот оптимист, конечно, именовал ее «английским здравым смыслом») есть подлинный оплот нашего общества.

Лорд Генри слушал его с усмешкой. Наконец он повернулся и взглянул на Дориана.

— Ну, что, мой друг, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе?

— Нет, я совершенно здоров, Генри. Немного устал, вот и все.

— Вчера вы были в ударе и совсем пленили маленькую герцогиню. Она мне сказала, что собирается в Селби.

— Да, она обещала приехать двадцатого.

— И Монмаут приедет с нею?

— Ну конечно, Гарри.

— Он мне ужасно надоед, почти так же, как ей. Она умница, умнее, чем следует быть женщине. Ей не хватает несравненного очарования женской слабости. Ведь не будь у золотого идола глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки герцогини очень красивы, но они не глиняные. Скорее можно сказать, что они из белого фарфора. Ее ножки прошли через огонь, а то, что огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже много испытала в жизни.

— Давно она замужем? — спросил Дориан.

— По ее словам, целую вечность. А в книге пэров, насколько я помню, указано десять лет. Но десять лет жизни с Монмаутом могут показаться вечностью... А кто еще приедет в Селби?

— Виллоуби и лорд Рэгби — оба с женами, потом леди Нарборо, Джеффри, Глостон, — словом, все та же обычная компания. Я пригласил еще лорда Гротриана.

— А, вот это хорошо! Он мне нравится. Многие его не любят, а я нахожу, что он очень мил. Если иной раз чересчур франтит, то этот грех искупается его замечательной образованностью. Он вполне современный, человек.

— Погодите радоваться, Гарри, — еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, что ему придется везти отца в Монте-Карло.

— Ох, что за несносный народ эти родители! Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал, уговорите его... Кстати, Дориан, вы очень рано сбежали от меня вчера, — еще и одиннадцати не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой?

Дориан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился.

— Нет, Гарри, — не сразу ответил он. — Домой я вернулся только около трех.

— Были в клубе?

— Да... То есть нет! — Дориан прикусил губу. — В клубе я не был. Так, гулял... Не помню, где был... Как вы любопытны, Гарри! Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в половине третьего. Я забыл взять с собою ключ, и моему лакею пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него.

Лорд Генри пожал плечами.

— Полноте, мой милый, на что мне это нужно! Пойдемте в гостиную к дамам... Нет, спасибо, мистер Чэпмен, я не пью хереса... С вами что-то случилось, Дориан! Скажите мне что? Вы сегодня сам не свой.

— Ах, Гарри, не обращайтесь на это внимания. Я сегодня в дурном настроении, и все

меня раздражает. Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду, мне надо ехать домой. Передайте леди Нарборо мои извинения.

— Ладно, Дориан. Жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет.

— Постараюсь, — сказал Дориан, уходя.

Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил в себе, снова вернулся. Случайный вопрос лорда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас очень нужно было сохранить самообладание и мужество. Предстояло уничтожить опасные улики, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно.

Но это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, Дориан запер дверь изнутри, затем открыл тайник в стене, куда спрятал пальто и саквояж Бэзила. В камине пылал яркий огонь. Дориан подбросил еще поленьев... Запах паленого сукна и горячей кожи был невыносим. Чтобы все уничтожить, пришлось провозиться целых три четверти часа. Под конец Дориана даже начало тошнить, кружилась голова. Он зажег несколько алжирских курительных свечек на медной жаровне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом...

Вдруг зрачки его расширились, в глазах появился странный блеск. Он нервно закусил нижнюю губу. Между окнами стоял флорентийский шкаф черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и ляпис-лазури. Дориан уставился на него как завороченный, — казалось, шкаф его и привлекал и пугал, словно в нем хранилось что-то, чего он жаждал и что вместе с тем почти ненавидел. Он задыхался от неистового желания... Закурил папиросу — и бросил. Веки его опустились так низко, что длинные пушистые ресницы почти касались щек. Но он все еще не двигался и не отрывал глаз от шкафа. Наконец он встал с дивана, подошел к шкафу и, отперев, нажал секретную пружину. Медленно выдвинулся трехугольный ящичек. Пальцы Дориана инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку, черную с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, с шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и кончались металлическими кисточками. Дориан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со страннотяжелым запахом.

Минуту-другую он медлил с застывшей на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, а его знобило. Он потянулся, глянул на часы... Было без двадцати двенадцать. Он поставил шкатулку на место, захлопнул дверцы шкафа и пошел в спальню.

Когда бронзовый бой часов во мраке возвестил полночь, Дориан Грей в одежде простолоудина, обмотав шарфом шею, крадучись, вышел из дому. На Бонд-стрит он встретил кеб с хорошей лошастью. Он подозвал его и вполголоса сказал кучеру адрес.

Тот покачал головой.

— Это слишком далеко.

— Вот вам совершен, — сказал Дориан. — И получите еще один, если поедете быстро.

Ладно, сэр, — отозвался кучер. — Через час будете на месте. Дориан сел в кеб, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.

Глава XVI

Полил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался жуткомертвенным. Все трактиры уже закрывались, у дверей их стояли кучками мужчины и женщины, неясно видные в темноте. Из одних кабаков вылетали на улицу взрывы грубого хохота, в других пьяные визжали и переругивались. Полулежа в кебе и низко надвинув на лоб шляпу, Дориан Грей равнодушно наблюдал отвратительную изнанку жизни большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства: «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Да, в этом весь секрет! Он, Дориан, часто старался это делать, будет стараться и впредь. Есть притоны для курильщиков опиума, где можно купить забвение. Есть ужасные вертепы, где память о старых грехах можно утопить в безумии новых.

Луна, низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп. Порой большущая безобразная туча протягивала длинные щупальца и закрывала ее. Все реже встречались фонари, и улицы, которыми проезжал теперь кеб, становились все более узкими и мрачными. Кучер даже раз сбился с дороги, и пришлось ехать обратно с полмили. Лошадь уморилась, шлепая по лужам, от нее валил пар. Боковые стекла кеба были снаружи плотно укрыты серой фланелью тумана.

«Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Как настойчиво звучали эти слова в ушах Дориана. Да, душа его больна смертельно. Но вправду ли ощущения могут исцелить ее? Ведь он пролил невинную кровь. Чем можно это искупить? Нет, этому нет прощения!.. Ну что ж, если нельзя себе этого простить, так можно забыть. И Дориан твердо решил забыть, вычеркнуть все из памяти, убить прошлое, как убивают гадюку, ужалившую человека. В самом деле, какое право имел Бэзил говорить с ним так? Кто его поставил судьей над другими людьми? Он сказал ужасные слова, слова, которые невозможно было стерпеть.

Кеб тащился все дальше и, казалось, с каждым шагом все медленнее. Дориан опустил стекло и крикнул кучеру, чтобы он ехал быстрее. Его томила мучительная жажда опиума, в горле пересохло, холеные руки конвульсивно сжимались. Он в бешенстве ударил лошадь своей тростью. Кучер рассмеялся и, в свою очередь, подстегнул ее кнутом. Дориан тоже засмеялся — и кучер почему-то притих.

Казалось, езде не будет конца. Сеть узких улочек напоминала широко раскинутую черную паутину. В однообразии их было что-то угнетающее. Туман все сгущался. Дориану стало жутко.

Проехали пустынный квартал кирпичных заводов. Здесь туман был не так густ, и можно было разглядеть печи для обжига, похожие на высокие бутылки, из которых вырывались оранжевые веерообразные языки пламени. На проезжавший кеб залаяла собака, где-то далеко во мраке кричала заблудившаяся чайка. Лошадь споткнулась, попав ногой в колею, шарахнулась в сторону и поскакала галопом.

Через некоторое время они свернули с грунтовой дороги, и кеб снова загрохотал по неровной мостовой. В окнах домов было темно, и только кое-где на освещенной изнутри шторе мелькали фантастические силуэты. Дориан с интересом смотрел на них. Они двигались, как громадные марионетки, а жестикулировали, как живые люди. Но скоро они стали раздражать его. В душе поднималась глухая злоба. Когда завернули за угол, женщина крикнула им что-то из открытой двери, в другом месте двое мужчин погнались за кебом и пробежали ярдов сто. Кучер отогнал их кнутом.

Говорят, у человека, одержимого страстью, мысли вращаются в замкнутом кругу. Действительно, искусанные губы Дориана Грея с утомительной настойчивостью повторяли и повторяли все ту же коварную фразу о душе и ощущениях, пока он не внушил себе, что она полностью выражает его настроение и оправдывает страсти, которые, впрочем, и без этого оправдания все равно владели бы им. Одна мысль заполонила его мозг, клетку за клеткой, и неистовая жажда жизни, самый страшный из человеческих appetitov, напрягала, заставляя трепетать каждый нерв, каждый фибр его тела. Уродства жизни, когда-то ненавистные ему, потому что возвращали к действительности, теперь по той же причине стали ему дороги. Да, безобразие жизни стало единственной реальностью. Грубые ссоры и драки, грязные притоны, бесшабашный разгул, низость воров и подонков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасные творения Искусства и грезы, навеваемые Песней. Они были ему нужны, потому что давали забвение. Он говорил себе, что через три дня отделается от воспоминаний.

Вдруг кучер рывком остановил кеб у темного переулочка. За крышами и ветхими дымовыми трубами невысоких домов виднелись черные мачты кораблей. Клубы белого тумана, похожие на призрачные паруса, льнули к их реям.

— Это где-то здесь, сэр? — хрипло спросил кучер через стекло.

Дориан восторженно и окинул улицу взглядом.

— Да, здесь, — ответил он и, поспешно выйдя из кеба, дал кучеру обещанный второй

соверен, затем быстро зашагал по направлению к набережной. Кое-где на больших торговых судах горели фонари. Свет их мерцал и дробился в лужах. Вдалеке пылали красные огни парохода, отправлявшегося за границу и набиравшего уголь. Скользящая мостовая блестела, как мокрый макинтош.

Дориан пошел налево, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Через семь-восемь минут он добрался до ветхого, грязного дома, вклинившегося между двумя захудалыми фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Здесь Дориан остановился и постучал в дверь. Стук был условный.

Через минуту он услышал шаги в коридоре, и забренчала снятая с крюка дверная цепочка. Затем дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова приземистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая ему дорогу. В конце коридора висела грязная зеленая занавеска, колыхавшаяся от резкого ветра, который ворвался в открытую дверь. Отдернув эту занавеску, Дориан вошел в длинное помещение с низким потолком, похожее на третьеразрядный танцкласс. На стенах горели газовые рожки, их резкий свет тускло и криво отражался в засиженных мухами зеркалах. Над газовыми рожками рефлекторы из гофрированной жести казались дрожащими кругами огня. Пол был усыпан ярко-желтыми опилками со следами грязных башмаков и темными пятнами от пролитого вина. Несколько малайцев, сидя на корточках у топившейся железной печурки, играли в кости, болтали и смеялись, скаля белые зубы. В одном углу, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, сидел моряк, а у пестро размалеванной стойки, занимавшей всю стену, две изможденные женщины дразнили старика, который брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто.

— Ему все чудится, будто по нему красные муравьи ползают, — с хохотом сказала одна из женщин проходившему мимо Дориану. Старик с ужасом посмотрел на нее и жалобно захныкал.

В дальнем конце комнаты лесенка вела в затемненную каморку. Дориан взбежал по трем расшатанным ступенькам, и ему ударил в лицо душный запах опиума. Он глубоко вдохнул его, и ноздри его затрепетали от наслаждения. Когда он вошел, белокурый молодой человек, который, наклонясь над лампой, зажигал длинную тонкую трубку, взглянул на него и нерешительно кивнул ему головой.

— Вы здесь, Адриан?

— Где же мне еще быть? — был равнодушный ответ. — Со мной теперь никто из прежних знакомых и разговаривать не хочет.

— А я думал, что вы уехали из Англии.

— Дарлингтон палец о палец не ударит... Мой брат наконец уплатил по векселю... Но Джордж тоже меня знать не хочет... Ну, да все равно, — добавил он со вздохом. — Пока есть вот это снадобье, друзья мне не нужны. Пожалуй, у меня их было слишком много.

Дориан вздрогнул и отвернулся. Он обвел глазами жуткие фигуры, в самых нелепых и причудливых позах раскинувшиеся на рваных матрацах. Судорожно скрюченные руки и ноги, разинутые рты, остановившиеся тусклые зрачки — эта картина словно завораживала его. Ему были знакомы муки того странного рая, в котором пребывали эти люди, как и тот мрачный ад, что открывал им тайны новых радостей. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был в плену у своих мыслей. Воспоминания, как страшная болезнь, глодали его душу. Порой перед ним всплывали устремленные на него глаза Бэзила Холлуорда. Как ни жаждал он поскорее забыться, он почувствовал, что не в силах здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона смущало его. Хотелось уйти куда-нибудь, где его никто не знает. Он стремился уйти от самого себя.

— Пойду в другое место, — сказал он после некоторого молчания.

— На верфь?

— Да.

— Но эта дикая кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают.

Дориан пожал плечами.

— Ну что ж! Мне до тошноты надоели влюбленные женщины. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. Кроме того, зелье там лучше.

— Да нет, такое же.

— Тамошнее мне больше по вкусу. Пойдемте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиться.

— А мне ничего не хочется, — пробормотал Адриан.

— Все равно, пойдемте.

Адриан Синглтон лениво встал и пошел за Дорианом к буфету. Мулат в рваной чалме и потрепанном пальто приветствовал их, противно скаля зубы, и со стуком поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у прилавка, тотчас придвинулись ближе и стали заговаривать с ними. Дориан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону.

Одна из женщин криво усмехнулась.

— Ишь какой он сегодня гордый! — фыркнула она.

— Ради бога, оставь меня в покое! — крикнул Дориан, топнув ногой. — Чего тебе надо? Денег? На, возьми и не смей со мной больше заговаривать.

Красные искры вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас потухли, и глаза снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенные ей монеты. Ее товарка завистливо наблюдала за ней.

— Ни к чему это, — со вздохом сказал Адриан, продолжая разговор. — Я не стремлюсь вернуться туда. Зачем? Мне и здесь очень хорошо.

— Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь. Обещаете? — спросил Дориан, помолчав.

— Может быть, и напишу.

— Ну, пока, до свиданья.

— До свиданья, — ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, стал подниматься по лесенке.

Дориан с болью посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Когда он отодвигал занавеску, ему вдогонку прозвучал циничный смех женщины, которой он дал деньги.

— Уходит эта добыча дьявола! — хрипло закричала она, икая.

— Не смей меня так называть, проклятая! — крикнул Дориан в ответ.

Она щелкнула пальцами и еще громче заорала ему вслед:

— А тебе хочется, чтобы тебя называли Прекрасный Принц, да?

Дремавший за столом моряк, услышав эти слова, вскочил и как безумный осмотрелся кругом. Когда из прихожей донесся стук захлопнувшейся двери, он выбежал стремглав, словно спасаясь от погони.

Дориан Грей под моросящим дождем быстро шел по набережной. Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Бэзил Холлуорд, когда с такой оскорбительной прямоотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело рук его, Дориана. На минуту глаза его приняли печальное выражение. Но он тотчас же встряхнулся.

Собственно, ему-то что? Слишком коротка жизнь, чтобы брать на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам. Жаль только, что так часто человеку за одну-единственную ошибку приходится расплачиваться без конца. В своих расчетах с человеком Судьба никогда не считает его долг погашенным.

Если верить психологам, бывают моменты, когда жажда греха (или того, что люди называют грехом) так овладевает человеком, что каждым фибром его тела, каждой клеточкой его мозга движут опасные инстинкты. В такие моменты люди теряют свободу воли. Как автоматы, идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода, сознание их — либо молчит, — либо своим вмешательством только делает бунт заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самый страшный из грехов — это грех непослушания. Великий дух, предтеча зла, был изгнан с небес именно за мятеж.

Бесчувственный ко всему, жаждущий лишь утешений порока, Дориан Грей, человек с оскверненным воображением и бунтующей душой, спешил вперед, все ускоряя шаг. Но когда он нырнул в темный крытый проход, которым часто пользовался для сокращения пути к тому притону с дурной славой, куда он направлялся, — сзади кто-то неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, прижал к стене, грубой рукой вцепившись ему в горло.

Дориан стал отчаянно защищаться и, сделав страшное усилие, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок, и в глаза Дориану блеснул револьвер, направленный прямо ему в лоб. Он смутно увидел в темноте стоявшего перед ним невысокого, коренастого мужчину.

— Чего вам надо? — спросил Дориан, задыхаясь.

— Стойте смирно! — скомандовал тот. — Только шевельнитесь — и я вас пристрелю.

— Вы с ума сошли! Что я вам сделал?

— Вы разбили жизнь Сибила Вэйн, а Сибила Вэйн — моя сестра. Она покончила с собой. Я знаю, это вы виноваты в ее смерти, и я дал клятву убить вас. Столько лет я вас разыскивал — ведь не было никаких следов... Только два человека могли бы вас описать, но оба они умерли. Я ничего не знал о вас — только то ласкательное прозвище, что она дала вам. И сегодня я случайно услышал его. Молитесь богу, потому что вы сейчас умрете.

Дориан Грей обомлел от страха.

— Я ее никогда не знал, — прошептал он, заикаясь. — И не слыхивал о ней. Вы сумасшедший.

— Кайтесь в своих грехах, я вам говорю, потому что вы умрете, это так же верно, как то, что я — Джеймс Вэйн.

Страшная минута. Дориан не знал, что делать, что сказать.

— На колени! — прорычал Джеймс Вэйн. — Даю вам одну минуту, не больше, чтобы помолиться. Сегодня я ухожу в плавание и сначала должен расквитаться с вами. Даю одну минуту, и все.

Дориан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда...

— Стойте! — воскликнул он. — Сколько лет, как умерла ваша сестра? Скорее отвечайте!

— Восемнадцать лет, — ответил моряк. — А что? При чем тут годы?

— Восемнадцать лет! — Дориан Грей рассмеялся торжествующим смехом. — Восемнадцать лет! Да подведите меня к фонарю и взгляните на меня!

Джеймс Вэйн одно мгновение стоял в нерешимости, не понимая, чего надо Дориану. Но затем потащил его из-под темной арки к фонарю.

Как ни слаб и неверен был задуваемый ветром огонек фонаря, — его было достаточно, чтобы Джеймс Вэйн поверил, что он чуть не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности, ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше двадцати лет. Он, пожалуй, был немногим старше, а может, и вовсе не старше, чем Сибила много лет назад, когда Джеймс расстался с нею. Было ясно, что это не тот, кто погубил ее.

Джеймс Вэйн выпустил Дориана и отступил на шаг.

— Господи помилуй! А я чуть было вас не застрелил!

Дориан тяжело перевел дух.

— Да, вы чуть не совершили ужасное преступление, — сказал он, сурово глядя на Джеймса. — Пусть это послужит вам уроком: человек не должен брать на себя отмщения, это дело господа бога.

— Простите, сэр, — пробормотал Вэйн. — Меня сбили с толку. Случайно услышал два слова в этой проклятой дыре — и они навели меня на ложный след.

— Ступайте-ка домой, а револьвер спрячьте, не то попадете в беду, — сказал Дориан и, повернувшись, неторопливо зашагал дальше.

Джеймс Вэйн, все еще не опомнившись от ужаса, стоял на мостовой. Он дрожал всем телом. Немного погодя какая-то черная тень, скользившая вдоль мокрой стены, появилась в освещенной фонарем полосе и неслышно подкралась к моряку. Почувствовав на своем плече чью-то руку, он вздрогнул и оглянулся. Это была одна из тех двух женщин, которые только что стояли у буфета в притоне.

— Почему ты его не убил? — прошипела она, вплотную приблизив к нему испитое лицо. — Когда ты выбежал от Дэйли, я сразу догадалась, что ты погнался за ним. Эх, дурак, надо было его пристукнуть. У него куча денег, и он — настоящий дьявол.

— Он не тот, кого я ищу, — ответил Джеймс Вэйн. — А чужие деньги мне не нужны. Мне нужно отомстить одному человеку. Ему теперь, должно быть, под сорок. А этот — еще почти мальчик. Слава богу, что я его не убил, не то были бы у меня руки в невинной крови.

Женщина горько засмеялась.

— Почти мальчик! Как бы не так! Если хочешь знать, вот уже скоро восемнадцать лет, как Прекрасный Принц сделал меня тем, что я сейчас.

Лжешь! — крикнул Джеймс Вэйн. Она подняла руку.

— Богом клянусь, что это правда.

— Клянешься?

— Чтоб у меня язык отсох, если я вру! Этот хуже всех тех, кто таскается сюда. Говорят, он продал душу черту за красивое лицо. Вот уже скоро восемнадцать лет я его знаю, а он за столько лет почти не переменялся... Не то что я, — добавила она с печальной усмешкой.

— Значит, ты клянешься?

— Клянусь! — хриплым эхом сорвалось с ее плоских губ. — Но ты меня не выдавай, — добавила она жалобно. — Я его боюсь. И дай мне деньжонок — за ночлег заплатить.

Он с яростным ругательством бросился бежать в ту сторону, куда ушел Дориан Грей, но Дориана и след простыл. Когда Джеймс Вэйн оглянулся, и женщины уже на улице не было.

Глава XVII

Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее своей усадьбы Селби-Ройял, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим шестидесятилетним стариком. Было время чая, и мягкий свет большой лампы под кружевным абажуром падал на тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза. За столом хозяйничала герцогиня. Ее белые руки грациозно порхали среди чашек, а полные красные губы улыбались, — видно, ее забавляло то, что ей нашептывал Дориан. Лорд Генри наблюдал за ними, полулежа в плетеном кресле с шелковыми подушками, а на диване персикового цвета восседала леди Нарборо, делая вид, что слушает герцога, описывавшего ей бразильского жука, которого он недавно добыл для своей коллекции. Трое молодых щеголей в смокингах угощали дам пирожными. В Селби уже съехались двенадцать человек, и назавтра ожидали еще гостей.

— О чем это вы толкуете? — спросил лорд Генри, подойдя к столу и ставя свою чашку. — Надеюсь, Дориан рассказал вам, Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому?... Это замечательная мысль.

— А я вовсе не хочу менять имя, Гарри, — возразила герцогиня, поднимая на него красивые глаза. — Я вполне довольна моим, и, наверное, мистер Грей тоже доволен своим.

— Милая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваши и Дориана. Оба они очень хороши. Я имею в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для бутоньерки, чудеснейший пятнистый цветок, обольстительный, как семь смертных грехов, и машинально спросил у садовника, как эта орхидея называется. Он сказал, что это прекрасный сорт «робинзониана»... или что-то столь же неблагозвучное. Право, мы разучились давать вещам красивые названия, — да, да, это печальная правда! А ведь слово — это все. Я никогда не придираюсь к поступкам, я требователен только к словам...

Потому-то я и не выношу вульгарный реализм в литературе. Человека, называющего лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею — только на это он и годен.

— Ну а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри? — спросила герцогиня.

— Принц Парадокс, — сказал Дориан.

— Вот удачно придумано! — воскликнула герцогиня.

— И слышать не хочу о таком имени, — со смехом запротестовал лорд Генри, садясь в кресло. — Ярлык пристанет, так уж потом от него не избавишься. Нет, я отказываюсь от этого титула.

— Короли не должны отрекаться, — тоном предостережения произнесли красивые губки.

— Значит, вы хотите, чтобы я стал защитником трона?

— Да.

— Но я провозглашаю истины будущего!

— А я предпочитаю заблуждения настоящего, — отпарировала герцогиня.

— Вы меня обезоруживаете, Глэдис! — воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением.

— Я отбираю у вас щит, но оставляю копье, Гарри.

— Я никогда не сражаюсь против Красоты, — сказал он с галантным поклоном.

— Это ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы цените красоту слишком высоко.

— Полноте, Глэдис! Правда, я считаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным.

Но, с другой стороны, я первый готов согласиться, что лучше уж быть добродетельным, чем безобразным.

— Выходит, что некрасивость — один из семи смертных грехов? — воскликнула герцогиня. А как же вы только что сравнивали с ними орхидеи?

— Нет, Глэдис, некрасивость — одна из семи смертных добродетелей. И вам, как стойкой тори, не следует умалять их значения. Пиво, Библия и эти семь смертных добродетелей сделали нашу Англию такой, какая она есть.

— Значит, вы не любите нашу страну?

— Я живу в ней.

— Чтобы можно было усерднее ее хулить?

— А вы хотели бы, чтобы я согласился с мнением Европы о ней?

— Что же там о нас говорят?

— Что Тартюф эмигрировал в Англию и открыл здесь торговлю.

— Это ваша острота, Гарри?

— Дарю ее вам.

— Что я с ней сделаю? Она слишком похожа на правду.

— А вы не бойтесь. Наши соотечественники никогда не узнают себя в портретах.

— Они — люди благоразумные.

— Скорее хитрые. Подводя баланс, они глупость покрывают богатством, а порок — лицемерием.

— Все-таки в прошлом мы вершили великие дела.

— Нам их навязали, Глэдис.

— Но мы с честью несли их бремя.

— Не дальше как до Фондовой биржи.

Герцогиня покачала головой.

— Я верю в величие нации.

— Оно — только пережиток предприимчивости и напористости.

— В нем — залог развития.

— Упадок мне милее.

— А как же искусство? — спросила Глэдис.

— Оно — болезнь.

— А любовь?

— Иллюзия.
— А религия?
— Распространенный суррогат веры.
— Вы скептик.
— Ничуть! Ведь скептицизм — начало веры.
— Да кто же вы?
— Определить — значит ограничить.
— Ну, дайте мне хоть нить!..
— Нити обрываются. И вы рискуете заблудиться в лабиринте.
— Вы меня окончательно загнали в угол. Давайте говорить о другом.
— Вот превосходная тема — хозяин дома. Много лет назад его окрестили Прекрасным Принцем.

— Ах, не напоминайте мне об этом! — воскликнул Дориан Грей.
— Хозяин сегодня несносен, — сказала герцогиня, краснея. — Он, кажется, полагает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне наилучший экземпляр современной бабочки.

— Но он, надеюсь, не посадит вас на булавку, герцогиня? — со смехом сказал Дориан.
— Достаточно того, что в меня втыкает булавки моя горничная, когда сердится.
— А за что же она на вас сердится, герцогиня?
— Из-за пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обычно за то, что я прихожу в три четверти девятого и заявляю ей, что она должна меня одеть к половине девятого.

— Какая глупая придирчивость! Вам бы следовало прогнать ее, герцогиня.
— Не могу, мистер Грей. Она придумывает мне фасоны шляпок. Помните ту, в которой я была у леди Хилстон? Вижу, что забыли, но из любезности делаете вид, будто помните. Так вот, она эту шляпку сделала из ничего. Все хорошие шляпы создаются из ничего.

— Как и все хорошие репутации, Глэдис, — вставил лорд Генри. — А когда человек чем-нибудь действительно выдвинется, он наживает врагов. У нас одна лишь посредственность — залог популярности.

— Только не у женщин, Гарри! — Герцогиня энергично покачала головой. — А женщины правят миром. Уверяю вас, мы терпеть не можем посредственности. Кто-то сказал про нас, что мы «любим ушами». А вы, мужчины, любите глазами... Если только вы вообще когда-нибудь любите.

— Мне кажется, мы только это и делаем всю жизнь, — сказал Дориан.
— Ну, значит, никого не любите по-настоящему, мистер Грей, — отозвалась герцогиня с шутливым огорчением.

— Милая моя Глэдис, что за ересь! — воскликнул лорд Генри. — Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом каждый раз, когда влюбляешься, любишь впервые. Предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой. Перемена только усиливает ее. Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще.

— Даже если оно вас тяжело ранит, Гарри? — спросила герцогиня, помолчав.
— Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит, — ответил лорд Генри.
Герцогиня повернулась к Дориану и посмотрела на него как-то странно.
— А вы что на это скажете, мистер Грей? — спросила она.
Дориан ответил не сразу. Наконец рассмеялся и потряхнул головой.
— Я, герцогиня, всегда во всем согласен с Гарри.
— Даже когда он не прав?
— Гарри всегда прав, герцогиня.
— И что же, его философия помогла вам найти счастье?
— Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно? Я искал наслаждений.
— И находили, мистер Грей?

— Часто. Слишком часто. Герцогиня сказала со вздохом:

— А я жажду только мира и покоя. И если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня.

— Позвольте мне выбрать для вас несколько орхидей, герцогиня, — воскликнул Дориан с живостью и, вскочив, направился в глубь оранжереи.

— Вы бессовестно кокетничаете с ним, Глэдис, — сказал лорд Генри своей кузине. — Берегитесь! Чары его сильны.

— Если бы не это, так не было бы и борьбы.

— Значит, грек идет на грека?

— Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину.

— И потерпели поражение.

— Бывают вещи страшнее плена, — бросила герцогиня.

— Эге, вы скачете, бросив поводья!

— Только в скачке и жизнь, — был ответ.

— Я это запишу сегодня в моем дневнике.

— Что именно?

— Что ребенок, обжегшись, вновь тянется к огню.

— Огонь меня и не коснулся, Гарри. Мои крылья целы.

— Они вам служат для чего угодно, только не для полета: вы и не пытаетесь улететь от опасности.

— Видно, храбрость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое ощущение.

— А вы знаете, что у вас есть соперница?

— Кто?

— Леди Нарборо, — смеясь, шепнул лорд Генри, — она в него положительно влюблена.

— Вы меня пугаете. Увлечение древностью всегда фатально для нас, романтиков.

— Это женщины-то — романтики? Да вы выступаете во всеоружии научных методов!

— Нас учили мужчины.

— Учить они вас учили, а вот изучить вас до сих пор не сумели.

— Ну-ка, попробуйте охарактеризовать нас! — подзадорила его герцогиня.

— Вы — сфинксы без загадок. Герцогиня с улыбкой смотрела на него.

— Однако долго же мистер Грей выбирает для меня орхидеи! Пойдемте поможем ему.

Он ведь еще не знает, какого цвета платье я надену к обеду.

— Вам придется подобрать платье к его орхидеям, Глэдис.

— Это было бы преждевременной капитуляцией.

— Романтика в искусстве начинается с кульминационного момента.

— Но я должна обеспечить себе путь к отступлению.

— Подобно парфянам?

— Парфяне спаслись в пустыню. А я этого не могу.

— Для женщин не всегда возможен выбор, — заметил лорд Генри. Не успел он договорить, как с дальнего конца оранжереи донесся стон, а затем глухой стук, словно от падения чего-то тяжелого. Все всполошились. Герцогиня в ужасе застыла на месте, а лорд Генри, тоже испуганный, побежал, раздвигая качавшиеся листья пальм, туда, где на плиточном полу лицом вниз лежал Дориан Грей в глубоком обмороке.

Его тотчас перенесли в голубую гостиную и уложили на диван. Он скоро пришел в себя и с недоумением обвел глазами комнату.

— Что случилось? — спросил он. — А, вспоминаю! Я здесь в безопасности, Гарри? — Он вдруг весь затрясся.

— Ну конечно, дорогой мой! У вас просто был обморок. Наверное, переутомились. Лучше не выходите к обеду. Я вас заменяю.

— Нет, я пойду с вами в столовую, — сказал Дориан, с трудом поднимаясь. — Я не хочу оставаться один.

Он пошел к себе переодеваться.

За обедом он проявлял беспечную веселость, в которой было что-то отчаянное. И только по временам вздрагивал от ужаса, вспоминая тот миг, когда увидел за окном оранжереи белое, как платок, лицо Джеймса Вэйна, следившего за ним.

Глава XVIII

Весь следующий день Дориан не выходил из дому и большую часть времени провел у себя в комнате, изнемогая от дикого страха смерти, хотя к жизни он был уже равнодушен. Сознание, что за ним охотятся, что его подстерегают, готовят ему западню, угнетало его, не давало покоя. Стоило ветерку шевельнуть портьеру, как Дориан уже вздрагивал. Сухие листья, которые ветер швырял в стекла, напоминали ему о неосуществленных намерениях и будили страстные сожаления. Как только он закрывал глаза, перед ним вставало лицо моряка, следившего за ним сквозь запотевшее стекло, и снова ужас тяжелой рукой сжимал сердце.

Но, может быть, это только его воображение вызвало из мрака ночи призрак мстителя и рисует ему жуткие картины ожидающего его возмездия? Действительность — это хаос, но в работе человеческого воображения есть неумолимая логика. И только наше воображение заставляет раскаяние следовать по пятам за преступлением. Только воображение рисует нам отвратительные последствия каждого нашего греха. В реальном мире фактов грешники не наказываются, праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и все.

И, наконец, если бы сторонний человек бродил вокруг дома, его бы непременно увидели слуги или сторожа. На грядках под окном оранжереи остались бы следы — и садовники сразу доложили бы об этом ему, Дориану. Нет, нет, все это только его фантазия! Брат Сибилы не вернулся, чтобы убить его. Он уехал на корабле и погибнет где-нибудь в бурном море. Да, Джеймс Вэйн, во всяком случае, ему больше не опасен. Ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла Прекрасного Принца.

Так Дориан в конце концов уверил себя, что все это был только мираж. Однако ему страшно было думать, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, придавая им видимое обличье, заставлять их проходить перед человеком! Во что превратилась бы его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели на него из темных углов, издеваясь над ним, шептали ему что-то в уши во время пиров, будили его ледяным прикосновением, когда он уснет! При этой мысли Дориан бледнел и холодел от страха. О, зачем он в страшный час безумия убил друга! Как жутко даже вспоминать эту сцену! Она словно стояла у него перед глазами. Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из темной пропасти времен в кровавом одеянии вставала грозная тень его преступления.

Когда лорд Генри в шесть часов пришел в спальню к Дориану, он застал его в слезах. Дориан плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя.

Только на третий день он решился выйти из дому. Напоенное запахом сосен ясное зимнее утро вернуло ему бодрость и жизнерадостность. Но не только это вызвало перемену. Вся душа Дориана восстала против чрезмерности мук, способной ее искалечить, нарушить ее дивный покой. Так всегда бывает с утонченными натурами. Сильные страсти, если они не укрощены, сокрушают таких людей. Страсти эти — либо убивают, — либо умирают сами. Мелкие горести и неглубокая любовь живучи. Великая любовь и великое горе гибнут от избытка своей силы.

Помимо того, Дориан убедил себя, что он — жертва своего потрясенного воображения, и уже вспоминал свои страхи с чувством, похожим на снисходительную жалость, жалость, в которой была немалая доля пренебрежения.

После завтрака он целый час гулял с герцогиней в саду, потом поехал через парк на то

место, где должны были собраться охотники. Сухой хрустящий иней словно солью покрывал траву. Небо походило на опрокинутую чашу из голубого металла. Тонкая кромка льда окаймляла у берегов поросшее камышом тихое озеро.

На опушке соснового леса Дориан, увидел брата герцогини, сэра Джеффри Клаустона, — он выбрасывал два пустых патрона из своего ружья. Дориан выскочил из экипажа и, приказав груму отвести лошадь домой, направился к своему гостю, пробираясь сквозь заросли кустарника и сухого папоротника.

— Хорошо поохотились, Джеффри? — спросил он, подходя.

— Не особенно. Видно, птицы почти все улетели в поле. После завтрака переберемся на другое место. Авось там больше повезет.

Дориан зашагал рядом с ним. Живительный аромат леса, мелькавшие в его зеленой сени золотистые и красные блики солнца на стволах, хриплые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу, и резкое шелканье ружей — все веселило его и наполняло чудесным ощущением свободы. Он весь отдался чувству бездумного счастья, радости, которую ничто не может смутить.

Вдруг ярдах в двадцати от них, из-за бугорка, поросшего прошлогодней травой, выскочил заяц. Насторожив уши с черными кончиками, вытягивая длинные задние лапки, он стрелой помчался в глубь ольшаника. Сэр Джеффри тотчас поднял ружье. Но грациозные движения зверька неожиданно умилили Дориана, и он крикнул:

— Не убивайте его, Джеффри, пусть себе живет!

— Что за глупости, Дориан! — со смехом запротестовал сэр Джеффри и выстрелил в тот момент, когда заяц юркнул в чашу. Раздался двойной крик — ужасный крик раненого зайца и еще более ужасный предсмертный крик человека.

— Боже! Я попал в загонщика! — ахнул сэр Джеффри. — Какой это осел полез под выстрелы! Эй, перестаньте там стрелять! — крикнул он во всю силу своих легких. — Человек ранен!

Прибежал старший егеря с палкой.

— Где, сэр? Где он?

И в ту же минуту по всей линии затихла стрельба.

— Там, — сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошел к ольшанику. — Какого черта вы не отвели своих людей подальше? Испортили мне сегодняшнюю охоту.

Дориан смотрел, как оба нырнули в заросли, раздвигая гибкие ветви. Через минуту они уже появились оттуда и вынесли труп на освещенную солнцем опушку. Дориан в ужасе отвернулся, подумав, что злой рок преследует его повсюду. Он слышал вопрос сэра Джеффри, умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишел людьми, слышался топот множества ног, приглушенный гомон. Крупный фазан с меднокрасной грудью, шумно хлопая крыльями, пролетел наверху среди ветвей.

Через несколько минут, показавшихся расстроенному Дориану бесконечными часами муки, на его плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся.

— Дориан, — промолвил лорд Генри. — Лучше я скажу им, чтобы на сегодня охоту прекратили. Продолжать ее как-то неудобно.

— Ее бы следовало запретить навсегда, — ответил Дориан с горечью. — Это такая жестокая и противная забава! Что, тот человек...

Он не мог закончить фразы.

— К сожалению, да. Ему угодил в грудь весь заряд дробы. Должно быть, умер сразу. Пойдемте домой, Дориан.

Они шли рядом к главной аллее и молчали. Наконец Дориан поднял глаза на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом:

— Это дурное предзнаменование, Гарри, очень дурное!

— Что именно? — спросил лорд Генри. — Ах да, этот несчастный случай. Ну, милый друг, что поделаешь? Убитый был сам виноват — кто же становится под выстрелы? И, кроме того, — мы-то тут при чем? Для Джеффри это изрядная неприятность, не спорю. Дырявить

загонщиков не годится. Люди могут подумать, что он плохой стрелок. А между тем это неверно: Джеффри стреляет очень метко. Но не будем больше говорить об этом.

Дориан покачал головой.

— Нет, это дурной знак, Гарри. Я чувствую, что случится что-то страшное... Быть может, со мной, — добавил он, проводя рукой по глазам, как под влиянием сильной боли.

Лорд Генри рассмеялся.

— Самое страшное на свете — это скука, Дориан. Вот единственный грех, которому нет прощения. Но нам она не грозит, если только наши приятели за обедом не вздумают толковать о случившемся. Надо будет их предупредить, что это запретная тема. Ну а предзнаменования — вздор, никаких предзнаменований не бывает. Судьба не шлет нам вестников — для этого она достаточно мудра или достаточно жестока. И, наконец, скажите, ради бога, что может с вами случиться, Дориан? У вас есть все, чего только может пожелать человек. Каждый был бы рад поменяться с вами.

— А я был бы рад поменяться с любым человеком на свете! Не смейтесь, Гарри, я вам правду говорю. Злополучный крестьянин, который убит только что, счастливее меня. Смерти я не боюсь — страшно только ее приближение. Мне кажется, будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О господи! Разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями, подстерегает, ждет меня?

Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке.

— Да, — сказал он с улыбкой, — вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. До чего же у вас нервы развинтились, мой милый! Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город.

Дориан вздохнул с облегчением, узнав в подходившем садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину.

— Ее светлость приказала мне подождать ответа, — промолвил он вполголоса.

Дориан сунул письмо в карман.

— Скажите ее светлости, что я сейчас приду, — сказал он сухо. Садовник торопливо пошел к дому.

— Как женщины любят делать рискованные вещи! — с улыбкой заметил лорд Генри. — Эта черта мне в них очень нравится. Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока другие на это обращают внимание.

— А вы любите говорить рискованные вещи, Гарри. И в данном случае вы глубоко ошибаетесь. Герцогиня мне очень нравится, но я не влюблен в нее.

— А она в вас очень влюблена, но нравитесь вы ей меньше. Так что вы составите прекрасную пару.

— Вы сплетничаете, Гарри! И сплетничаете без всяких оснований.

— Основание для всякой сплетни — вера в безнравственность, — изрек лорд Генри, закуривая папиросу.

— Гарри, Гарри, вы ради красного словца готовы кого угодно принести в жертву!

— Люди сами восходят на алтарь, чтобы принести себя в жертву.

— Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить! — воскликнул Дориан с ноткой пафоса в голосе. — Но я, кажется, утратил эту способность и разучился желать. Я всегда был слишком занят собой — и вот стал уже в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, забыть!.. Глупо было ехать сюда. Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя в безопасности.

— В безопасности от чего, Дориан? С вами случилась какая-нибудь беда? Почему же вы молчите? Вы знаете, что я всегда готов помочь вам.

— Я не могу вам ничего рассказать, Гарри, — ответил Дориан уныло. — И, наверное, все — просто моя фантазия. Это несчастье меня расстроило, я предчувствую, что и со мной случится что-нибудь в таком роде.

— Какой вздор!

— Надеюсь, вы правы, но ничего не могу с собой поделаться. Ага, вот и герцогиня! Настоящая Артемида в английском костюме. Как видите, мы вернулись, герцогиня.

— Я уже все знаю, мистер Грей, — сказала герцогиня. — Бедный Джеффри ужасно огорчен. И, говорят, вы просили его не стрелять в зайца. Какое странное совпадение!

— Да, очень странное. Не знаю даже, что меня побудило сказать это. Простая прихоть, вероятно. Заяц был так мил... Однако очень жаль, что они вам рассказали про это. Ужасная история...

— Досадная история, — поправил его лорд Генри. — И психологически ничуть не любопытная. Вот если бы Джеффри убил его нарочно, — как это было бы интересно! Хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей!

— Гарри, вы невозможный человек! — воскликнула герцогиня. — Не правда ли, мистер Грей?.. Ох, Гарри, мистеру Грею, кажется, опять дурно! Он сейчас упадет!

Дориан с трудом овладел собой и улыбнулся.

— Это пустяки, не беспокойтесь, герцогиня. Нервы у меня сильно расстроены, вот и все. Пожалуй, я слишком много ходил сегодня... Что такое Гарри опять изрек? Что-нибудь очень циничное? Вы мне потом расскажете. А сейчас вы меня извините — мне, пожалуй, лучше пойти прилечь.

Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжереи на террасу. Когда стеклянная дверь закрылась за Дорианом, лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее в упор своими темными глазами.

— Вы сильно в него влюблены? — спросил он. Герцогиня некоторое время молчала, глядя на расстилавшуюся перед ними картину.

— Хотела бы я сама это знать, — сказала она наконец. Лорд Генри покачал головой.

— Знание пагубно для любви. Только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется необыкновенным.

— Но в тумане можно сбиться с пути.

— Ах, милая Глэдис, все пути ведут к одному.

— К чему же?

— К разочарованию.

— С него я начала свой жизненный путь, — со вздохом отозвалась герцогиня.

— Оно пришло к вам в герцогской короне.

— Мне надоели земляничные листья.

— Но вы их носите с подобающим достоинством.

— Только на людях.

— Смотрите, вам трудно будет обойтись без них!

— А они останутся при мне, все до единого.

— Но у Монмаута есть уши.

— Старость туга на ухо.

— Неужели он никогда не ревнует?

— Нет. Хоть бы раз приревновал!

Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно ища чего-то.

— Чего вы ищете? — спросила герцогиня.

— Шишечку от вашей рапиры, — отвечал он. — Вы ее обронили.

Герцогиня расхохоталась.

— Но маска еще на мне.

— Из-под нее ваши глаза кажутся еще красивее, — был ответ.

Герцогиня снова рассмеялась. Зубы ее блеснули меж губ, как белые зернышки в алой мякоти плода.

А наверху, в своей спальне, лежал на диване Дориан, и каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь внезапно стала для него невыносимым бременем. Смерть злополучного загонщика, которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалась Дориану прообразом его собственного конца. Услышав слова лорда Генри, сказанные с такой циничной шутливостью,

он чуть не лишился чувств.

В пять часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы его вещи были уложены и коляска подана к половине девятого, так как он уезжает вечерним поездом в Лондон. Он твердо решил ни одной ночи не ночевать больше в Селби, этом зловещем месте, где смерть бродит и при солнечном свете, а трава в лесу обрызгана кровью.

Он написал лорду Генри записку, в которой сообщал, что едет в Лондон к врачу, и просил развлекать гостей до его возвращения. Когда он запечатывал записку, в дверь постучали, и лакей доложил, что пришел старший егерь. Дориан нахмурился, закусил губу.

— Пусть войдет, — буркнул он после минутной нерешимости. Как только егерь вошел, Дориан достал из ящика чековую книжку и положил ее перед собой.

— Вы, наверное, пришли по поводу того несчастного случая, Торнтон? — спросил он, берясь уже за перо.

— Так точно, сэр, — ответил егерь.

— Что же, этот бедняга был женат? У него есть семья? — спросил Дориан небрежно, — Если да, я их не оставлю в нужде, пошлю им денег. Сколько вы находите нужным?

— Мы не знаем, кто этот человек, сэр. Поэтому я и осмелился вас побеспокоить...

— Не знаете, кто он? — рассеянно переспросил Дориан. — Как так? Разве он не из ваших людей?

— Нет, сэр. Я его никогда в глаза не видел. Похоже, что это какой-то матрос, сэр. Перо выпало из рук Дориана, и сердце у него вдруг замерло.

— Матрос? — переспросил он. — Вы говорите, матрос?

— Да, сэр. По всему видно. На обеих руках у него татуировка... и все такое...

— А нашли вы при нем что-нибудь? — Дориан наклонился вперед, ошеломленно глядя на егеря. — Какой-нибудь документ, из которого можно узнать его имя?

— Нет, сэр. Только немного денег и шестизарядный револьвер — больше ничего. А имя нигде не указано. Человек, видимо, приличный, но из простых. Мы думаем, что матрос.

Дориан вскочил. Мелькнула безумная надежда, и он судорожно за нее ухватился.

— Где труп? Я хочу его сейчас же увидеть.

— Он на ферме, сэр. В пустой конюшне. Люди не любят держать в доме покойника. Они говорят, что мертвец приносит несчастье.

— На ферме? Так отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите кому-нибудь из конюхов, чтобы привел мне лошадь... Или нет, не надо. Я сам пойду в конюшню. Так будет скорее.

Не прошло и четверти часа, как Дориан Грей уже мчался галопом, во весь опор, по длинной аллее. Деревья призрачной процессией неслись мимо, и пугливые тени перебегали дорогу. Раз кобыла неожиданно свернула в сторону, к знакомой белой ограде, и чуть не сбросила седока. Он стегнул ее хлыстом по шее, и она понеслась вперед, рассекая воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт.

Наконец Дориан доскакал до фермы. По двору слонялись двое рабочих. Он спрыгнул с седла и бросил поводья одному из них. В самой дальней конюшне светился огонек. Какой-то внутренний голос подсказал Дориану, что мертвец там. Он быстро подошел к дверям и взялся за щеколду.

Однако он вошел не сразу, а постоял минуту, чувствуя, что вот сейчас ему предстоит сделать открытие, которое — либо вернет ему покой, — либо испортит жизнь навсегда. Наконец он порывисто дернул дверь к себе и вошел.

На мешках в дальнем углу лежал человек в грубой рубахе и синих штанах. Лицо его было прикрыто пестрым ситцевым платком. Рядом горела, потрескивая, толстая свеча, воткнутая в бутылку.

Дориан дрожал, чувствуя, что у него не хватит духу своей рукой снять платок. Он кликнул одного из работников.

— Снимите эту тряпку, я хочу его видеть, — сказал он и прислонился к дверному косяку, ища опоры.

Когда парень снял платок, Дориан подошел ближе. Крик радости вырвался у него. Человек, убитый в лесу, был Джеймс Вэйн!

Несколько минут Дориан Грей стоял и смотрел на мертвеца. Когда он потом ехал домой, глаза его были полны слез. Спасен!

Глава XIX

— И зачем вы мне твердите, что решили стать лучше? — говорил лорд Генри, окуная белые пальцы в медную чашу с розовой водой. — Вы и так достаточно хороши. Пожалуйста, не меняйтесь.

Дориан покачал головой.

— Нет, Гарри, у меня на совести слишком много тяжких грехов. Я решил не грешить больше. И вчера уже начал творить добрые дела.

— А где же это вы были вчера?

— В деревне, Гарри. Поехал туда один и остановился в маленькой харчевне.

— Милый друг, в деревне всякий может быть праведником, — с улыбкой заметил лорд Генри. — Там нет никаких соблазнов. По этой-то причине людей, живущих за городом, не коснулась цивилизация. Да, да, приобщиться к цивилизации — дело весьма нелегкое. Для этого есть два пути: культура или так называемый разврат. А деревенским жителям то и другое недоступно. Вот они и закоснели в добродетели.

— Культура и разврат, — повторил Дориан. — Я приобщился к тому и другому, и теперь мне тяжело думать, что они могут сопутствовать друг другу. У меня новый идеал, Гарри. Я решил стать другим человеком. И чувствую, что уже переменился.

— А вы еще не рассказали мне, какое это доброе дело совершили. Или, кажется, вы говорили даже о нескольких? — спросил лорд Генри, положив себе на тарелку красную пирамидку очищенной клубники и посыпая ее сахаром.

— Этого я никому рассказывать не стал бы, а вам расскажу. Я пощадил женщину, Гарри. Такое заявление может показаться тщеславным хвастовством, но вы меня поймете. Она очень хороша собой и удивительно напоминает Сибилу Вэйн. Должно быть, этим она вначале и привлекла меня. Помните Сибилу, Гарри? Каким далеким кажется то время!.. Так вот... Гетти, конечно, не нашего круга. Простая деревенская девушка. Но я ее искренне полюбил. Да, я убежден, что это была любовь. Весь май — чудесный май был в этом году! — я ездил к ней два-три раза в неделю. Вчера она встретила меня в саду. Цветы яблони падали ей на волосы, и она смеялась... Мы должны были уехать вместе сегодня на рассвете. Но вдруг я решил оставить ее такой же прекрасной и чистой, какой встретил ее...

— Должно быть, новизна этого чувства доставила вам истинное наслаждение, Дориан? — перебил лорд Генри. — А вашу идиллию я могу досказать за вас. Вы дали ей добрый совет и разбили ее сердце. Так вы начали свою праведную жизнь.

— Гарри, как вам не стыдно говорить такие вещи! Сердце Гетти вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и все такое. Но зато она не обесчещена. Она может жить, как Пердита, в своем саду среди мяты и златоцвета.

— И плакать о неверном Флоризеле, — dokonчил лорд Генри, со смехом откидываясь на спинку стула. — Милый мой, как много еще в вас презабавной детской наивности! Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека ее среды? Выдадут ее замуж за грубияна-возчика или крестьянского парня. А знакомство с вами и любовь к вам сделали свое дело: она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной. Не могу сказать, чтобы ваше великое самоотречение было большой моральной победой. Даже для начала это слабо. Кроме того, почему вы знаете, — может быть, ваша Гетти плавает сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, озаренном звездным сиянием?

— Перестаньте, Гарри, это невыносимо! То вы все превращаете в шутку, то придумываете самые ужасные трагедии! Мне жаль, что я вам все рассказал. И что бы вы ни говорили, я знаю, что поступил правильно. Бедная Гетти! Сегодня утром, когда я проезжал

верхом мимо их фермы, я видел в окне ее личико, белое, как цветы жасмина... Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь меня убедить, что мое первое за столько лет доброе дело, первый самоотверженный поступок на самом деле чуть ли не преступление. Я хочу стать лучше. И стану... Ну, довольно об этом. Расскажите мне о себе. Что слышно в Лондоне? Я давно не был в клубе.

— Люди все еще толкуют об исчезновении Бэзила.

— А я думал, что им это уже наскучило, — бросил Дориан, едва заметно нахмутив брови и наливая себе вина.

— Что вы, мой милый! Об этом говорят всего только полтора месяца, а обществу нашему трудно менять тему чаще, чем раз в три месяца, — на такое умственное усилие оно не способно. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий — мой развод, самоубийство Алана Кэмпбела, а теперь еще загадочное исчезновение художника! В Скотланд-ярде все еще думают, что человек в сером пальто, уехавший девятого ноября в Париж двенадцатичасовым поездом, был бедняга Бэзил, а французская полиция утверждает, что Бэзил вовсе и не приезжал в Париж. Наверное, через неделю-другую мы услышим, что его видели в Сан-Франциско. Странное дело — как только кто-нибудь бесследно исчезает, тотчас разносится слух, что его видели в Сан-Франциско! Замечательный город, должно быть, этот Сан-Франциско, и обладает, наверное, всеми преимуществами того света!

— А вы как думаете, Гарри, куда мог деваться Бэзил? — спросил Дориан, поднимая стакан с бургундским и рассматривая вино на свет. Он сам удивлялся спокойствию, с которым говорил об этом.

— Понятия не имею. Если Бэзилу угодно скрываться, — это его дело. Если он умер, я не хочу о нем вспоминать. Смерть — то единственное, о чем я думаю с ужасом. Она мне ненавистна.

— Почему же? — лениво спросил младший из собеседников.

— А потому, — лорд Генри поднес к носу золоченый флакончик с уксусом, — что в наше время человек все может пережить, кроме нее. Есть только два явления, которые и в нашем, девятнадцатом, веке еще остаются необъяснимыми и ничем не оправданными: смерть и пошлость... Давайте перейдем пить кофе в концертный зал, — хорошо, Дориан? Я хочу, чтобы вы мне поиграли Шопена. Тот человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл Шопена. Бедная Виктория! Я был к ней очень привязан, и без нее в доме так пусто. Разумеется, семейная жизнь только привычка, скверная привычка. Но ведь даже с самыми дурными привычками трудно бывает расстаться. Пожалуй, труднее всего именно с дурными. Они — такая существенная часть нашего "я".

Дориан, ничего не отвечая, встал из-за стола и, пройдя в соседнюю комнату, сел за рояль. Пальцы его забегали по черным и белым клавишам. Но когда подали кофе, он перестал играть и, глядя на лорда Генри, спросил:

— Гарри, а вам не приходило в голову, что Бэзила могли убить?

Лорд Генри зевнул.

— Бэзил очень известен и носит дешевые часы. Зачем же было бы его убивать? И врагов у него нет, потому что не такой уж он выдающийся человек. Конечно, он очень талантливый художник, но можно писать, как Веласкес, и при этом быть скучнейшим малым. Бэзил, честно говоря, всегда был скучноват. Только раз он меня заинтересовал — это было много лет назад, когда он признался мне, что безумно вас обожает и что вы вдохновляете его, даете ему стимул к творчеству.

— Я очень любил Бэзила, — с грустью сказал Дориан. — Значит, никто не предполагает, что он убит?

— В некоторых газетах такое предположение высказывалось. А я в это не верю. В Париже, правда, есть весьма подозрительные места, но Бэзил не такой человек, чтобы туда ходить. Он совсем не любознателен, это его главный недостаток.

— А что бы вы сказали, Гарри, если бы я признался вам, что это я убил Бэзила?

Говоря это, Дориан с пристальным вниманием наблюдал за лицом лорда Генри.

— Сказал бы, что вы, мой друг, пытаетесь выступить не в своей роли. Всякое преступление вульгарно, точно так же, как всякая вульгарность — преступление. И вы, Дориан, не способны совершить убийство. Извините, если я таким утверждением задел ваше самолюбие, но, ей-богу, я прав. Преступники — всегда люди низших классов. И я их ничуть не осуждаю. Мне кажется, для них преступление — то же, что для нас искусство: просто-напросто средство, доставляющее сильные ощущения.

— Средство, доставляющее сильные ощущения? Значит, по-вашему, человек, раз совершивший убийство, способен сделать это опять? Полноте, Гарри!

— О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку, — со смехом отозвался лорд Генри. — Это один из главных секретов жизни. Впрочем, убийство — всегда промах. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с людьми после обеда... Ну, оставим в покое беднягу Бэзила. Хотелось бы верить, что конец его был так романтичен, как вы предполагаете. Но мне не верится. Скорее всего, он свалился с омнибуса в Сену, а кондуктор скрыл это, чтобы не иметь неприятностей. Да, да, я склонен думать, что именно так и было. И лежит он теперь под мутно-зелеными водами Сены, а над ним проплывают тяжелые баржи, и в волосах его запутались длинные водоросли... Знаете, Дориан, вряд ли он мог еще многое создать в живописи. Его работы за последние десять лет значительно слабее первых.

Дориан в ответ только вздохнул, а лорд Генри прошелся из угла в угол и стал гладить редкого яванского попугая, сидевшего на бамбуковой жердочке. Как только его пальцы коснулись спины этой крупной птицы с серыми крыльями и розовым хохолком и хвостом, она опустила белые пленки сморщенных век на черные стеклянные глаза и закачалась взад и вперед.

— Да, — продолжал лорд Генри, обернувшись к Дориану и доставая из кармана платок, — картины Бэзила стали много хуже. Чего-то в них не хватает. Видно, Бэзил утратил свой идеал. Пока вы с ним были так дружны, он был великим художником. Потом это кончилось. Из-за чего вы разошлись? Должно быть, он вам надоел? Если да, то Бэзил, вероятно, не мог простить вам этого — таковы уж все скучные люди. Кстати, что случилось с вашим чудесным портретом? Я, кажется, не видел его ни разу с тех пор, как Бэзил его закончил... А, припоминаю, вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби, и он не то затерялся по дороге, не то его украли. Что же, он так и не нашелся? Какая жалость! Это был настоящий шедевр. Помню, мне очень хотелось его купить. И жаль, что я этого не сделал. Портрет написан в то время, когда талант Бэзила был в полном расцвете. Более поздние его картины уже представляют собой ту любопытную смесь плохой работы и благих намерений, которая у нас дает право художнику считаться типичным представителем английского искусства... А вы объявляли в газетах о пропаже? Это следовало сделать.

— Не помню уже, — ответил Дориан, — Вероятно, объявлял. Ну, да бог с ним, с портретом! Он мне, в сущности, никогда не нравился, и я жалею, что позировал для него. Не люблю я вспоминать о нем. К чему вы затеяли этот разговор? Знаете, Гарри, при взгляде на портрет мне всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы — кажется, из «Гамлета»... Поймите, как же это?..

*Словно образ печали,
Бездушный тот лик...*

Да, именно такое впечатление он на меня производил.

Лорд Генри засмеялся.

— Кто к жизни подходит как художник, тому мозг заменяет душу, — отозвался он, садясь в кресло.

Дориан отрицательно потряс головой и взял несколько тихих аккордов на рояле.

Словно образ печали,

Бездушный тот лик...

— повторил он.

Лорд Генри, откинувшись в кресле, смотрел на него из-под полуопущенных век.

— А между прочим, Дориан, — сказал он, помолчав, — что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет... как дальше? Да: если он теряет собственную душу?

Музыка резко оборвалась. Дориан, вздрогнув, уставился на своего друга.

— Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри?

— Милый мой. — Лорд Генри удивленно поднял брови. — Я спросил, потому что надеялся получить ответ, — только и всего. В воскресенье я проходил через Парк, а там у Мраморной Арки стояла кучка оборванцев и слушала какого-то уличного проповедника. В то время как я проходил мимо, он как раз выкрикнул эту фразу, и меня вдруг поразила ее драматичность... В Лондоне можно очень часто наблюдать такие любопытные сценки... Вообразите — дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в макинтоше, кольцо бледных испитых лиц под неровной крышей зонтов, с которых течет вода, — и эта потрясающая фраза, брошенная в воздух, прозвучавшая как пронзительный истерический вопль. Право, это было в своем роде интересно и весьма внушительно. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства, а у человека ее нет. Но побоялся, что он меня не поймет.

— Не говорите так, Гарри! Душа у человека есть, это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить, продать, променять. Ее можно отравить или спасти. У каждого из нас есть душа. Я это знаю.

— Вы совершенно в этом уверены, Дориан?

— Совершенно уверен.

— Ну, в таком случае это только иллюзия. Как раз того, во что твердо веришь, в действительности не существует. Такова фатальная участь веры, и этому же учит нас любовь. Боже, какой у вас серьезный и мрачный вид, Дориан! Полноте! Что нам за дело до суеверий нашего века? Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дориан! Сыграйте какой-нибудь ноктюрн и во время игры расскажите тихонько, как вы сохранили молодость. Вы, верно, знаете какой-нибудь секрет. Я старше вас только на десять лет, а посмотрите, как я износился, сморщился, пожелтел! Вы же поистине очаровательны, Дориан. И сегодня более чем когда-либо. Глядя на вас, я вспоминаю день нашей первой встречи. Вы были очень застенчивый, но при этом довольно дерзкий и вообще замечательный юноша. С годами вы, конечно, переменялись, но внешне — ничуть. Хотел бы я узнать ваш секрет! Чтобы вернуть свою молодость, я готов сделать все на свете — только не заниматься гимнастикой, не вставать рано и не вести добродетельный образ жизни. Молодость! Что может с ней сравниться? Как это глупо — говорить о «неопытной и невежественной юности». Я с уважением слушаю суждения только тех, кто много меня моложе. Молодежь нас опередила, ей жизнь открывает свои самые новые чудеса. А людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. Спросите их мнения о чем-нибудь, что произошло только вчера, — и они с важностью преподнесут вам суждения, господствовавшие в тысяча восемьсот двадцатом году, когда мужчины носили длинные чулки, когда люди верили решительно во все, но решительно ничего не знали... Какую прелестную вещь вы играете! Она удивительно романтична. Можно подумать, что Шопен писал ее на Майорке, когда море стонало вокруг его виллы и соленые брызги летели в окна. Какое счастье, что у нас есть хоть одно неподражаемое искусство! Играйте, играйте, Дориан, мне сегодня хочется музыки!.. Я буду воображать, что вы — юный Аполлон, а я — внимающий вам Марсий... У меня есть свои горести, Дориан, о которых я не говорю даже вам. Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым... Я иногда сам поражаюсь своей искренности. Ах, Дориан, какой вы счастливец! Как прекрасна ваша жизнь! Вы все извели, всем упивались, вы смаковали сок виноградин, раздавливая их во рту. Жизнь ничего не утаила от вас. И все в ней вы воспринимали как

музыку, поэтому она вас не испортила. Вы все тот же.

— Нет, Гарри, я уже не тот.

— А я говорю — тот. Интересно, какова будет ваша дальнейшая жизнь. Только не портите ее отречениями. Сейчас вы — совершенство. Смотрите же, не станьте человеком неполноценным. Сейчас вас не в чем упрекнуть. Не качайте головой, вы и сами знаете, что это так. И, кроме того, не обманывайте себя, Дориан: жизнью управляют не ваша воля и стремления. Жизнь наша зависит от наших нервных волокон, от особенностей нашего организма, от медленно развивающихся клеток, где таятся мысли, где рождаются мечты и страсти. Вы, допустим, воображаете себя человеком сильным и думаете, что вам ничто не угрожает. А между тем случайное освещение предметов в комнате, тон утреннего неба, запах, когда-то любимый вами и навеявший смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова встретилось вам в книге, музыкальная фраза из пьесы, которую вы давно уже не играли, — вот от каких мелочей зависит течение нашей жизни, Дориан! Браунинг тоже где-то пишет об этом. И наши собственные чувства это подтверждают. Стоит мне, например, ощутить где-нибудь запах духов «белая сирень», — и я вновь переживаю один самый удивительный месяц в моей жизни. Ах, если бы я мог поменяться с вами, Дориан! Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить. Вы — тот человек, которого наш век ищет... и боится, что нашел. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы положили *себя* на музыку. Дни вашей жизни — это ваши сонеты.

Дориан встал из-за рояля и провел рукой по волосам.

— Да, жизнь моя была чудесна, но так жить я больше не хочу, — сказал он тихо. — И я не хочу больше слышать таких сумасбродных речей, Гарри! Вы не все обо мне знаете. Если бы знали, то даже вы, вероятно, отвернулись бы от меня. Смеетесь? Ох, не смейтесь, Гарри!

— Зачем вы перестали играть, Дориан? Садитесь и сыграйте мне еще раз этот ноктюрн. Взгляните, какая большая, желтая, как мед, луна плывет в сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она подойдет ближе к земле... Не хотите играть? Ну, так пойдемте в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер, и надо кончить его так же. В клубе будет один молодой человек, который жаждет с вами познакомиться, — это лорд Пул, старший сын Борнмаута. Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Премилый юноша и немного напоминает вас.

— Надеюсь, что нет, — сказал Дориан, и глаза его стали печальны. — Я устал, Гарри, я не пойду в клуб. Скоро одиннадцать, а я хочу пораньше лечь.

— Не уходите еще, Дориан. Вы играли сегодня, как никогда. Ваша игра была как-то особенно выразительна.

— Это потому, что я решил исправиться, — с улыбкой промолвил Дориан. — И уже немного изменился к лучшему.

— Только ко мне не переменитесь, Дориан! Мы с вами всегда останемся друзьями.

— А ведь вы однажды отравили меня книгой, Гарри, — этого я вам никогда не прощу. Обещайте, что вы никому больше не дадите ее. Это вредная книга.

— Дорогой мой, да вы и в самом деле становитесь моралистом! Скоро вы, как всякий новообращенный, будете ходить и увещевать людей не делать всех тех грехов, которыми вы пресытились. Нет, для этой роли вы слишком хороши! Да и бесполезно это. Какие мы были, такими и останемся. А «отравить» вас книгой я никак не мог. Этого не бывает. Искусство не влияет на деятельность человека, — напротив, оно парализует желание действовать. Оно совершенно нейтрально. Так называемые «безнравственные» книги — это те, которые показывают миру его пороки, вот и все. Но давайте не будем сейчас затевать спор о литературе! Приходите ко мне завтра, Дориан. В одиннадцать я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к леди Бренксам. Эта милая женщина хочет посоветоваться с вами насчет гобеленов, которые она собирается купить. Так смотрите же, я вас жду!.. Или не поехать ли нам завтракать к нашей маленькой герцогине?

Она говорит, что вы совсем перестали бывать у нее. Быть может, Глэдис вам наскучила? Я это предвидел. Ее остроумие действует на нервы. Во всяком случае, приходите к одиннадцати.

— Вы непременно этого хотите, Гарри?

— Конечно. Парк теперь чудо как хорош! Сирень там цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас.

— Хорошо, приду. Покойной ночи, Гарри.

Дойдя до двери, Дориан остановился, словно хотел еще что-то сказать. Но только вздохнул и вышел из комнаты.

Глава XX

Был прекрасный вечер, такой теплый, что Дориан не надел пальто и нес его на руке. Он даже не обернул шею своим шелковым кашне. Когда он, куря папиросу, шел по улице, его обогнали двое молодых людей во фраках. Он слышал, как один шепнул другому: «Смотри, это Дориан Грей». И Дориан вспомнил, как ему раньше бывало приятно то, что люди указывали его друг другу, глазели на него, говорили о нем. А теперь? Ему надоело постоянно слышать свое имя. И главная прелесть жизни в деревне, куда он в последнее время так часто ездил, была именно в том, что там его никто не знал. Девушке, которая его полюбила, он говорил, что он бедняк, и она ему верила. Раз он ей сказал, что в прошлом вел развратную жизнь, а она засмеялась и возразила, что развратные люди всегда бывают старые и безобразные. Какой у нее смех — совсем как пение дрозда! И как она прелестна в своем ситцевом платье и широкополой шляпе! Она, простая, невежественная девушка, обладает всем тем, что он утратил.

Придя домой, Дориан отослал спать лакея, который не ложился, дожидаясь его. Потом вошел в библиотеку и лег на диван. Он думал о том, что ему сегодня говорил лорд Генри.

Неужели правда, что человек при всем желании не может измениться? Дориан испытывал в эти минуты страстную тоску по незапятнанной чистоте своей юности, «бело-розовой юности», как назвал ее однажды лорд Генри. Он сознавал, что загрязнил ее, растлил свою душу, дал отвратительную пищу воображению, что его влияние было губительно для других, и это доставляло ему жестокое удовольствие. Из всех жизней, скрестившихся с его собственной, его жизнь была самая чистая и так много обещала — а он запятнал ее. Но неужели все это непоправимо? Неужели для него нет надежды?

О, зачем в роковую минуту гордыни и возмущения он молил небеса, чтобы портрет нес бремя его дней, а сам он сохранил неприкосновенным весь блеск вечной молодости! В ту минуту он погубил свою жизнь. Лучше было бы, если бы всякое прегрешение влекло за собой верное и скорое наказание. В каре — очищение. Не «Прости нам грехи наши», а «Покарай нас за беззакония наши» — вот какой должна быть молитва человека справедливейшему богу.

На столе стояло зеркало, подаренное Дориану много лет назад лордом Генри, и белорукие купидоны по-прежнему резвились на его раме, покрытой искусной резьбой. Дориан взял его в руки, — совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете, — и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами: «Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира». Эти идолопоклоннические слова вспомнились сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стала противна собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Эта красота его погубила, красота и вечная молодость, которую он себе вымолил! Если бы не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость — насмешкой. Что такое молодость в лучшем случае? Время незрелости, наивности, время поверхностных впечатлений и

нездоровых помыслов. Зачем ему было носить ее наряд? Да, молодость его погубила.

Лучше не думать о прошлом. Ведь ничего теперь не изменишь. Надо подумать о будущем. Джеймс Вэйн лежит в безымянной могиле на кладбище в Селби. Алан Кэмпбел застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении Бэзила Холлуорда скоро прекратятся, волнение уляжется — оно уже идет на убыль. Значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть Бэзила Холлуорда мучила и угнетала Дориана, а смерть его собственной души, мертвой души в живом теле. Бэзил написал портрет, который испортил ему жизнь, — и Дориан не мог простить ему этого. Ведь всему виной портрет! Кроме того, Бэзил наговорил ему недопустимых вещей, и он стерпел это... А убийство? Убийство он совершил в минуту безумия. Алан Кэмпбел? Что из того, что Алан покончил с собой? Это его личное дело, такова была его воля. При чем же здесь он, Дориан?

Новая жизнь! Жизнь, начатая сначала, — вот чего хотел Дориан, вот к чему стремился. И уверял себя, что она уже началась. Во всяком случае, он пощадил невинную девушку. И никогда больше не будет соблазнять невинных. Он будет жить честно.

Вспомнив о Гетти Мертон, он подумал: а пожалуй, портрет в запертой комнате уже изменился к лучшему? Да, да, наверное, он уже не так страшен, как был. И если жизнь его, Дориана, станет чистой, то, быть может, всякий след пороков и страстей изгладится с лица портрета? А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли? Надо пойти взглянуть.

Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь, радостная улыбка пробежала по его удивительно молодому лицу и осталась на губах. Да, он станет другим человеком, и этот мерзкий портрет, который приходится теперь прятать от всех, не будет больше держать его в страхе. Он чувствовал, что с души наконец свалилась страшная тяжесть.

Он вошел, тихо ступая, запер за собой дверь, как всегда, и сорвал с портрета пурпурное покрывало. Крик возмущения и боли вырвался у него. Никакой перемены! Только в выражении глаз было теперь что-то хитрое, да губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был все так же отвратителен, отвратительнее прежнего, и красная влага на его руке казалась еще ярче, еще более была похожа на свежeproлитую кровь. Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело? Или жажда новых ощущений, как с ироническим смехом намекнул лорд Генри? Или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки благороднее нас самих? Или все это вместе? А почему кровавое пятно стало больше? Оно расплзлось по морщинистым пальцам, распространялось подобно какой-то страшной болезни... Кровь была и на ногах портрета — не капала ли она с руки? Она была и на другой руке, той, которая не держала ножа, убившего Бэзила. Что же делать? Значит, ему следует сознаться в убийстве? Сознаться? Отдаться в руки полиции, пойти на смерть?

Дориан рассмеялся. Какая дикая мысль! Да если он и сознается, кто ему поверит? Нигде не осталось следов, все вещи убитого уничтожены, — он, Дориан, собственноручно сжег все, что оставалось внизу, в библиотеке. Люди решат, что он сошел с ума. И, если он будет упорно обвинять себя, его запрут в сумасшедший дом... Но ведь долг велит сознаться, покаяться перед всеми, понести публичное наказание, публичный позор. Есть бог, и он требует, чтобы человек исповедовался в грехах своих перед небом и землей. И ничто не очистит его, Дориана, пока он не сознается в своем преступлении... Преступлении? Он пожал плечами. Смерть Бэзила Холлуорда утратила в его глазах всякое значение. Он думал о Гетти Мертон. Нет, этот портрет, это зеркало его души, лжет! Самолюбование? Любопытство? Лицемерие? Неужели ничего, кроме этих чувств, не было в его самоотречении? Неправда, было нечто большее! По крайней мере, так ему казалось. Но кто знает?..

Нет, ничего другого не было. Он пощадил Гетти только из тщеславия. В своем лицемерии надел маску добродетели. Из любопытства попробовал поступить самоотверженно. Сейчас он это ясно понимал.

А это убийство? Что же, оно так и будет его преследовать всю жизнь? Неужели прошлое будет вечно тяготеть над ним? Может, в самом деле сознаться?.. Нет, ни за что! Против него есть только одна-единственная — и то слабая — улика: портрет. Так надо уничтожить его! И зачем было так долго его хранить? Прежде ему нравилось наблюдать, как портрет вместо него старится и дурнеет, но в последнее время он и этого удовольствия не испытывает. Портрет не дает ему спокойно спать по ночам. И, уезжая из Лондона, он все время боится, как бы в его отсутствие чужой глаз не подсмотрел его тайну. Мысль о портрете отравила ему не одну минуту радости, омрачила меланхолией даже его страсти. Портрет этот — как бы его совесть. Да, совесть. И надо его уничтожить.

Дориан осмотрелся и увидел нож, которым он убил Бэзила Холлуорда. Он не раз чистил этот нож, и на нем не осталось ни пятнышка, он так и сверкал. Этот нож убил художника — так пусть же он сейчас убьет и его творение, и все, что с ним связано. Он убьет прошлое, и, когда прошлое умрет, Дориан Грей будет свободен! Он покончит со сверхъестественной жизнью души в портрете, и когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет покой.

Дориан схватил нож и вонзил его в портрет.

Раздался громкий крик и стук от падения чего-то тяжелого. Этот крик смертной муки был так ужасен, что проснувшиеся слуги в испуге выбежали из своих комнат. А два джентльмена, проходившие на площади, остановились и посмотрели на верхние окна большого дома, откуда донесся крик. Потом пошли искать полисмена и, встретив его, привели к дому. Полисмен несколько раз позвонил, но на звонок никто не вышел. Во всем доме было темно, светилось только одно окно наверху. Подождав немного полисмен отошел от двери и занял наблюдательный пост на соседнем крыльце.

— Чей это дом, констебль? — спросил старший из двух джентльменов.

— Мистера Дориана Грея, сэр, — ответил полицейский.

Джентльмены переглянулись, презрительно усмехаясь, и пошли дальше. Один из них был дядя сэра Генри Эштона.

А в доме, на той половине, где спала прислуга, тревожно шептались полуодетые люди. Старая миссис Лиф плакала и ломала руки. Фрэнсис был бледен как смерть.

Прождав минут пятнадцать, он позвал кучера и одного из лакеев, и они втроем на цыпочках пошли наверх. Постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать Дориана. Но все было безмолвно наверху. Наконец, после тщетных попыток взломать дверь, они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались, — задвижки были старые.

Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто это.